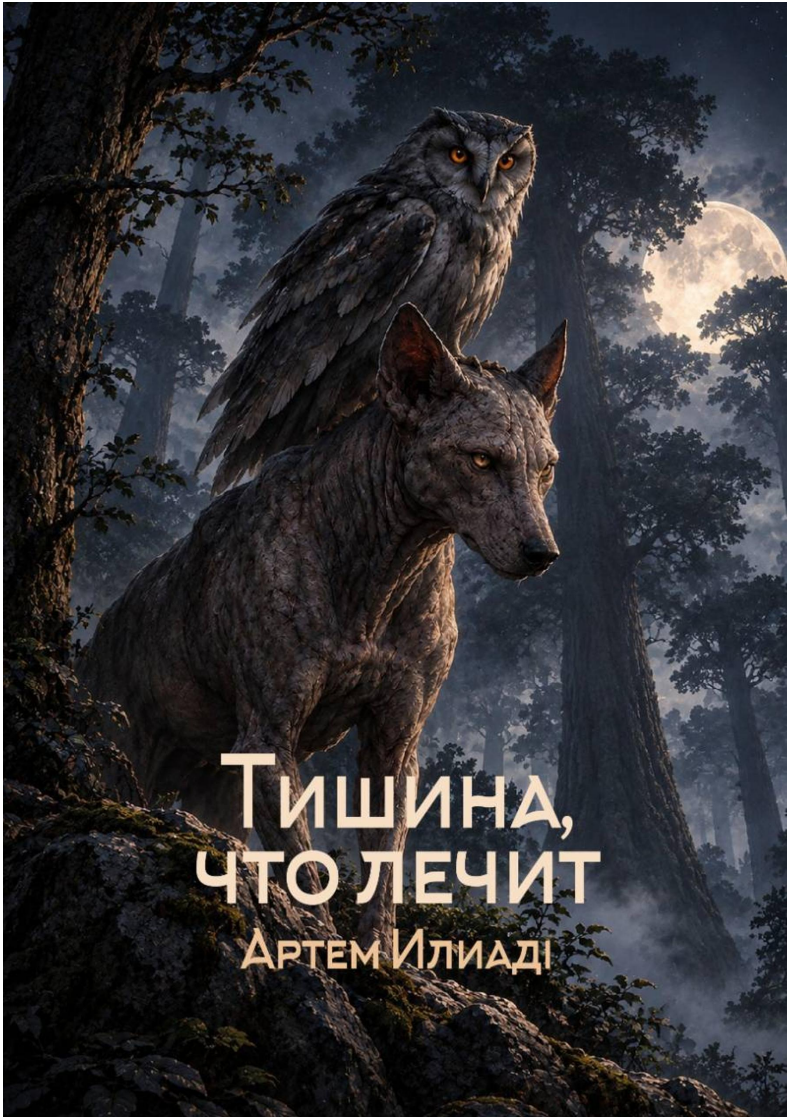
Тишина,
что лечит
Артем Илиади

Артем Илиаді

Тишина, что лечит

https://litres.ru/74960874
SelfPub; 2026

Аннотация

Торийцы говорят, что слово — это договор с лесом, и потому говорят медленно. Люди говорят, что торийцам верить нельзя. А в доме немой лекарки на краю деревни Гэофольд почти не говорят вовсе, зато там умеют слушать.

Однажды туда принесут раненого мальчика из леса, и с этого дня тишина в доме станет другой.

Это история о дороге, которая уводит далеко от дома, о долгом пути назад и о той тишине, что умеет лечить.

Содержание

ПРОЛОГ. ИЗ ПЕРВОЙ ЗЕЛЕНОЙ КНИГИ РОУДА 4
I. ПРИМИТЕ НАС, КОРНИ ЛАОСА 11
II. ЧЕТЫРЕХГЛАЗЫЙ ЗВЕРЬ 33
III. ХОЗЯЙКА И ЛУНА 53
IV. ШЕПОТ У БИБЛИОТЕКИ 72
V. ДОМ БЕЗ СЛОВ 92
Конец ознакомительного фрагмента. 110

Тишина, что лечит

ПРОЛОГ. ИЗ ПЕРВОЙ ЗЕЛЕНОЙ КНИГИ РОУДА

Глава первая. О народе торийском, о пути его и о лесе, что принял его

Внемли, читающий, и не торопи глаз своих, ибо слова сии писаны медленно, как растет Лаос, и читать их надлежит так же. Записали мы их в Сэлайе, в доме Слова, со слов отцов наших, а отцы наши слышали их от своих отцов, и так до самого начала, которого не помнит никто, кроме корней.

Было время, когда не знали в Хэодории ни карт, ни границ, ни имен, что дают земле пришлые народы. Тогда жили торийцы далеко отсюда, к северу и закату, по ту сторону гор Хаурор, на широкой равнине. Шумела там высокая трава, и ветер ходил по ней волнами, как ходит ныне по Гэоденским полям. Текли там реки, полные рыбы, паслись стада, и небо над равниной было открыто от края до края, так что всякую ночь видели предки наши звезды и давали им имена. Иными были тогда и сами торийцы. Глаза у них были светлые, с белками, как у эдов, и лица короче нынешних, ибо жили они при солнце и не было им нужды смотреть во тьму.

Но земля не вечно бывает щедра. Пришли годы, когда до-

жди стали редки, а после и вовсе перестали ходить над равниной. Реки обмелели и ушли в песок, трава выгорела, стада пали одно за другим. Ветер, что прежде пел в траве, стал приносить пыль, и пыль ложилась на поля год за годом, пока там, где была степь, не легли барханы. Ту землю и ныне зовут пустыней Ло. Говорят, в бурю там слышен гул, будто сама пустыня вздыхает о том, чем была прежде, и путнику, что заблудится в ней, никто не укажет дороги.

Тогда поднялся среди торийцев тот, кого мы чтим превыше всех, и имя ему было Риэль. Он сказал народу, что земля их умерла и ждать ее воскресения значит умереть вместе с нею, а за горами на юге, может статься, есть иная земля, которая их примет. Многие не поверили и остались, и о них с той поры ничего не известно. Иные пошли за ним. Шли они через перевалы Хаурора, где камень холоден даже летом, несли на себе детей и стариков, хоронили павших в осыпях и пели над ними, чтобы не забыть, ради чего вышли в путь. Сколько длился тот путь, книги не говорят: считать дни было некому.

И когда спустились они с последнего склона, открылся перед ними лес, какого не видел никто из живущих. Стволы его вставали из земли, как горы, и вершины уходили за облака, так что неба не было видно вовсе и полог ветвей над головой был сплошным, как свод. Первым из деревьев, к которому подошел Риэль, был Великий Лаос, древо предков, старейшее в Роуде. Риэль приложил руку к груди, склонил голову

и только после того коснулся коры. С тех пор так делает всякий ториец, прежде чем тронуть живое дерево, и всякий, кто входит в лес с добром.

Лес назывался Роуд, и он был живой. Внизу, у корней, царила тьма, и в той тьме жили звери, которых предки наши прежде не знали. Тогда решили они подняться туда, где светлее, и стали учиться жить в кронах. Глаза их, привыкая к сумраку, темнели от поколения к поколению, пока не стали такими, каковы ныне: глубокими и темными без остатка, зоркими в ночи, как у лесной совы. Вытянулись и лица, и дети рождались уже такими, какими их родил лес. Так Роуд принял нас и переделал по себе, и мы не держим на него обиды: он дал нам больше, чем взял.

Древо рубить нельзя, сказал Риэль, и это первый закон Роуда. Живая древесина Лаоса не продается и не отдается ни за какую цену, и тот, кто поранит ее топором, совершает тяжкое преступление. Опавшую же кору, что дерево сбрасывает само, берем мы как дар и топим ею очаги в городах, потому что горит она чисто и пахнет терпко. На дне леса огня не разводим вовсе: лес не любит пламени у своих корней, и мы помним, что пришли к нему гостями.

Дома свои торийцы выращивают. Молодые побеги и ветви мы год за годом подвязываем легкими снастями, отводим и выгибаем, и из живого дерева вырастают своды, переходы, площади, мосты и колонны. Ремесло это передается от отца к сыну и почитается священным, а всякое изменение формы

дерева прежде обсуждает Совет Ветвей, ибо дерево не вещь, и спросить его согласия надлежит через тех, кто умеет слушать. Так вырос на ветвях Лаосов первый город, и Риэль дал ему имя Сэлайя. Ныне это наша столица и сердце народа. На севере ее стоит одно-единственное дерево, Лаос-фэлли, на котором одном во всей Хэодории распускаются светлые цветы фэллиар, и цветок этот вождь дарит лишь той, кого избрал себе в жены.

Имя Риэль означает первый и последний. Его не дают кому придется: оно приходит к одному торийцу за целую эпоху, к тому, кто начнет и кто завершит. Сам же первый Риэль, говорят старики, умел летать на веерных крыльях и долетал от Сэлайи до самого Клера, но правда ли это, книги не ведают, и мы записываем лишь то, что говорят.

От Сэлайи пошли и другие города. Ближе всех к ней, в сердце леса, стоит Клер, и из всех городов Роуда эти два ближе всего к полям на закате. На севере, где лес подходит к реке Шэмми, вырос Сиэль, и река течет сквозь него. Ниже Сиэля, в трех мэарах к югу, стоит Мазэ, и через него река также держит свой путь. Еще южнее и ближе к восходу, на берегу моря Торэ, лежит Сагу, город, что слушает волну. На берегах моря Бордэ стоит Гринэйл, и там величайшие верфи торийцев, с которых уходят в море наши корабли. Есть и город Фирамэ, на заливе того же имени. В него приходит река Шэ, что спускается с гор Хаурор, бежит через поля и деревню людей, а затем через весь Роуд, пока не отдаст воды

свои заливу и морю Бордэ. На юге же, у гор Саламэ, стоит Ороэн, и жители его добывают в тех горах кристаллы, которыми славен наш народ.

Между городами проложены дороги по самим ветвям, широким, как улицы, и ездят по ним колесницы и вьючные звери. Письма же наши носит воздух: по пустым жилам лиан-ветрожил они летят над лесом от станции к станции быстрее любого гонца.

Знай, читающий, и о тех, с кем делим мы лес. Силэи, пепельные волки без шерсти, стерегут Роуд и подчиняются лишь шепоту торийца. Лэрумы с долгими шеями носят грузы и путников по ветвям. Лаосхары, бархатные и долгие, как змеи, очищают и врачуют деревья, и зовут их дыханием Лаоса. Эйнаур поют в кронах, будто колокола под водой. Шоэрны, большие совы, живут рядом с нашими городами, а мелкие синеглазые нарты приносят удачу тому, кто не гонит их от порога. Внизу растет грумшар, что годен в пищу, светит ферилум в полнолуние, и есть дорионус, которого не следует касаться губами.

Закон наш прост, и оттого его трудно исполнить. Слово торийца есть договор с лесом, и потому говорим мы неспешно, взвешивая каждое. Ложь у нас равна предательству самого Роуда, и нет преступления тяжелее. Кто однажды принял чужого, тот запомнит его имя навечно, и добро, оказанное торийцу, вернется даже через поколения. Но и обиды мы не забываем. Рождаются у нас порою дети с глазами разного

цвета, и таким дают второе имя, у каждого свое, и вписывают его в Памятную Книгу Линии рядом с первым. Говорят, им дано видеть и корни, и горизонт. Их учат законам и ремеслу слова, и всю жизнь несут они двойную тяжесть: за себя и за то, что видят.

Не одни мы жили в Хэодории до прихода пришлых. Далеко на севере, за рекой Шэмми, в светлых лесах и землях, где поют ветры, живут эды, и они такие же древние, как мы. Мы и эды зовемся коренными народами этой земли. Позже приплыли из-за моря люди, ведомые Хэо, и назвали остров его именем, и в восемнадцатый год Первой эпохи встал на берегу маяк Эор из серого камня и древесины Лаоса, что отпала сама. Тот маяк стал знаком мира между нами и людьми, и свет его горит доныне.

С севера же, из земель за рекой Шэмми, что лежат над самым Роудом, пришли озриды, народ без песен, и не было с ними мира. Долго бились мы с ними на границах леса, и долго проигрывали, ибо доспехи наши были слабы против их железа, и много торийцев легло у корней. Тогда пришел к нам из северной деревни у реки Шэ юноша, одетый в кожу гэоденской коровы, которую не пробивает стрела. Он прошел через враждебный лес, через стрелы и страх, и принес нам доверие, которое оказалось крепче меча. Имя его было Гэофольд. Воины наши облеклись в его кожу и одолели врага, и мы вернулись к его народу с миром. В деревне его мы поставили библиотеку, ратушу и таверну, а договор скрепи-

ли словом, которое не нарушается. С тех пор деревня носит его имя, и с тех пор дважды в год, в Торийские дни, приходим мы туда за кожей, а с нами уходят девушки, которых старейшины деревни назовут достойными, чтобы научить нас обращаться с нею. Эту книгу и другие, ей подобные, мы отдаем народу Гэофольда в знак того, что лес и поле отныне не прольют крови друг друга.

Вот и все, что надлежит знать о начале. Остальное расскажут корни тому, кто умеет слушать. А тебе, читающий, скажем одно, чему научил нас путь через Хаурор: земля, что кажется вечной, может уйти из-под ног, и тогда спасется лишь тот, кто решится идти. Береги свое слово. И когда коснешься коры, не забудь сперва приложить руку к груди.

I. ПРИМИТЕ НАС, КОРНИ ЛАОСА

«Каждый путь начинается задолго до того, как путник понимает, что уже идет по нему.»

— из Первой Зеленой книги Роуда (840 год II эпохи)

Розлиэн держался за перила так, что побелели костяшки.

Утренний ветер гулял между ветвями Лаоса лениво, как хозяин, которому некуда спешить. Он трогал листву, и листва отвечала ему ровным шелестом, будто само дерево дышало во сне. Сэлайя пробуждалась. Столица торийцев висела в нескольких мэарах над землей, которую большинство ее жителей знали только по сказкам, и просыпалась так, как просыпаются лишь на высоте: сначала звуками. Где-то скрипнул мост, на верхних ярусах перекликнулись рожки дозорных, а из лавок поплыл запах медовых лепешек с дымником и нагретой смолы. Запах цеплялся за перила, перебирался с квартала на квартал и добрался наконец до смотровой площадки, где стоял мальчик, которому было совсем не до лепешек.

Он честно пытался смотреть на золотые своды крон, но взгляд всякий раз соскальзывал вниз, туда, где зелень густела, темнела и пропадала в тени ствола. Казалось, стоит наклониться чуть сильнее, и высота сама возьмет его за шиво-

рот, как котенка.

— Не сжимай так дерево, Лаэрон, а то выжмешь из него смолу, — сказали у него за спиной.

Дедушка подошел бесшумно. Он всегда ходил так, словно сапоги у него подбиты мхом, и пахло от него неизменно одним и тем же: сушеным лунолистом, фонарной смолой и старым пергаментом. Он положил на перила сухую ладонь в темных веснушках и посмотрел туда же, куда смотрел внук. Некоторое время они стояли рядом, и это было хорошее молчание, из тех, в которые не приходится вставлять слова, как затычки.

— Все думаешь о завтрашнем спуске?

— Я никогда не был так низко, — сказал Розлиэн, и голос у него предательски дрогнул. — Там же ничего не видно, дедушка. Одна темнота и листья.

— И под ребрами холодеет, и колени стучат, как колотушки?

— Да. Ужасно.

Дедушка задумчиво погладил серебристую бороду. В ней запутался сухой листок Лаоса, которого старик то ли не замечал, то ли нарочно не трогал.

— Скажи-ка мне, — начал он. — Если бы я попросил тебя подняться выше. Выше самой верхушки Лаоса, туда, где ветки тоньше мизинца и вокруг одно небо. Допустим, есть такое дерево, с которого видны края мира. Полез бы?

Розлиэн представил себя на тонкой качающейся ветке, где

не за что ухватиться, и сам не заметил, как замотал головой.

— Я бы зажмурился. И, наверное, закричал.

— Вот видишь. Значит, земля тут ни при чем, и глубина тоже.

— Тогда что?

— То, чего ты не знаешь. — Старик провел ладонью по нагретым перилам, будто здоровался с деревом. — Страшно бывает то, для чего у тебя нет ни названия, ни образа. Ты наверху родился, всю жизнь у тебя под ногами ветки, вот земля и кажется врагом. — Он хмыкнул. — А она тебе, между прочим, ничего плохого не сделала.

Розлиэн принялся ковырять носком сапога стык между досками.

— Все трицы такие храбрые. Отец вообще ничего не боится. А у меня ладони мокрые.

— Ты думаешь, у храбрых ладони сухие? — Дедушка наклонился к нему, и в темных глазах мелькнула знакомая хитринка. — Сердце колотится, ноги ватные, а шаг делаешь все равно, потому что знаешь, зачем идешь. Вот и вся храбрость. Бояться не стыдно, внук. Стыдно, когда страх решает за тебя, кто ты такой.

Он выпрямился, поморщившись, и потер поясницу.

— Пойдем-ка. Тут сквозит, а колени у меня, знаешь ли, не железные.

Они двинулись по настилу вдоль огромной ветви. Брусья отзывались под ногами глухим приятным гулом. Высота по-

прежнему не отпускала Розлиэна, но тянула уже не так слепо.

— Ты говорил с Элрионом?

— Вчера, пока он проверял снаряжение.

— И что сказал мой сын?

— Что путь проверен, разведчики знают свое дело и волноваться не о чем. — Розлиэн вздохнул. — И чтобы я поменьше дергался, слушал трицев и не отходил от Рийсара ни на шаг.

Дедушка фыркнул в усы.

— Узнаю. Он и мне в твои годы так отвечал, коротко, будто дозорный на смене докладывает. Спросишь его, бывало, как прошел день, а он: «Прошел, отец».

Они свернули под арку из переплетенных кувшинок. Розлиэн шел, глядя под ноги, и наконец решился сказать то, что носил в себе всю неделю.

— Мне кажется, ему со мной неинтересно.

Дедушка ответил не сразу. Он шел, заложив руки за спину, и лишь через несколько шагов спросил, почему внук так решил.

— Он все время занят. Совет, разведчики, карты нижних ярусов, споры с эдами. С кем угодно он может часами обсуждать урожай орехов или починку мостов, а со мной только проверяет, затянуты ли ремни. За всю неделю ни разу не спросил, страшно ли мне. Даже не спросил, хочу ли я туда. Сказал: «Завтра спуск. Будь готов к часу закрытия кувши-

нок», — и ушел.

— А ты сказал ему, что тебе страшно?

Розлиэн покраснел до самых ушей.

— Нет.

— Тогда с чего ты взял, что ему все равно?

Мальчик долго разглядывал узор лишайника на досках.

— Он же вождь. Он мой отец. Разве он сам не должен видеть?

— Мысли читать он не умеет. Никто не умеет. — Дедушка остановился у скамьи, вросшей в ствол, и заговорил медленнее: — Любит он тебя, Лаэрон, сильнее, чем умеет показать. Он в мать пошел, в мою покойную фэлл. Та тоже все носила в себе, лишнего слова не вытянешь. Знаешь, когда ему было лет двенадцать и он в первый раз собрался к Корням, он весь день ходил с таким видом, будто идет гулять по верхним ярусам. А ночью я встал воды попить и нашел его на краю платформы. Сидел, уткнувшись лицом в колени, и кусал губы чуть не до крови.

Розлиэн остановился.

— Отец? Боялся?

— Боялся. — Старик улыбнулся краешком губ. — Храбрые боятся не меньше нашего, просто виду не подают. А за тебя он боится больше, чем за себя. Потому и отдал тебя Рийсару: слишком хорошо знает, что там, внизу.

Что-то в груди у Розлиэна оттаяло. Он глянул через перила и увидел ту же бездну, что и раньше, только теперь она

почему-то выглядела чуть менее голодной.

Ему было десять лет, и глаза у него были необыкновенные. Правый был темным, глубокого теплого оттенка, как мокрая кора Лаоса после дождя. Левый был светлым, серо-золотистым, с тонкими ореховыми прожилками, и на солнце казался почти прозрачным. Среди торийцев и эдов изредка рождаются дети с глазами разного цвета, и у каждого народа на это свой взгляд. Эды зовут такой знак благословением леса. Торийцы говорят прозаичнее: тому, кто родился с такими глазами, дано видеть и корни, и горизонт.

Поэтому рядом с первым именем, Розлиэн, у него появилось второе, какое дают только таким детям и у каждого свое, — Лаэрон. Оно шло следом, как второе дыхание, и было вписано в Памятную Книгу Линии, древний свиток, пахнущий воском и смолой, куда заносили тех, кому судьба готовила особый путь.

Дедушка ушел по широкой лестнице наверх, к архивам, а Розлиэн побрел по изогнутому мосту, навстречу корзинам с ягодами и тележкам с лоовыми прутьями. Двое малышей в холщовых рубашонках с визгом пронеслись мимо, и один из них едва не сбил его с ног.

— Осторожнее! — крикнул Розлиэн, размахивая руками на самом краю настила.

— Это ты осторожнее, сын вождя! Упадешь — ищи тебя потом в ветках!

Голос шел сверху, и Розлиэн поднял голову.

По узким перилам, на одной ноге, раскинув руки крыльями, шел Тэйрис, его лучший друг, на год младше самого Розлиэна: тощий смуглый ториец с вечно растрепанными волосами, перемазанными смолой пальцами и глазами-угольками. Ходить спокойно, когда рядом можно было взобраться, перепрыгнуть или повиснуть вниз головой, он не умел и учиться не собирался. С трех сэлов высоты он спрыгнул на настил, пружинисто выпрямился и отряхнул ладони с таким видом, будто только что победил в состязании.

— Ты опять подслушивал, — сказал Розлиэн.

— Я? — Тэйрис состроил самую невинную рожу на свете, и только уши, покраснев, его выдали. — Я сидел в листве и ел балибулу. А ваш разговор сам ко мне прилетел. Твой дедушка говорит так важно и раздельно, что его, наверное, и на нижних ярусах слышно.

Розлиэн фыркнул. Они пошли дальше, уступая дорогу торийцам в зеленых плащах. Тэйрис подобрал с настила сухую риолскую шишку, повертел ее в пальцах и кинул через перила. Оба перегнулись и проводили ее взглядом: коричневая точка шуршала по листве все глуше, пока не пропала в зеленой тьме. Звука падения так и не донеслось.

— Значит, завтра уже? — спросил Тэйрис уже без задора.

— На рассвете. Отец велел быть готовым к часу закрытия кувшинок.

— И как ты, ничего?

Розлиэн пожал плечами и признался, что ладони у него

потеют с самого утра и вытирать их о штаны он уже устал.

— Ладони! — Тэйрис даже остановился. — Да я бы на твоем месте заперся в спальне, а ключ бросил вон туда, чтоб уж наверняка.

— Через год сам пойдешь, — сказал Розлиэн и толкнул его локтем. — Тогда и посмотрим, куда ты денешь ключ.

— Вот тогда ты надо мной и посмеешься, — ничуть не смутился Тэйрис. — Придет мой черед хвататься за канаты, а ты будешь стоять весь такой опытный, в кожаной броне, и скажешь: «Не бойся, Тэйрис, земля не кусается».

Розлиэн рассмеялся от души, и ледяной ком, который сидел у него в груди с самого утра, наконец дал трещину.

— Так и скажу, слово в слово, — пообещал Розлиэн. — И лицо сделаю самое важное, как у дедушки, когда он идет в архив.

— Вот и договорились!

Тэйрис умчался вперед, приплясывая на пружинящих досках. Розлиэн смотрел ему вслед и вдруг подумал о завтрашнем дне как о дороге, по которой можно уйти и вернуться: на эти мосты, к этим лепешкам и к этому сумасшедшему другу.

* * *

Дома его ждала Миэла.

Сестре было пять лет, и она сидела на его кровати с таким видом, словно кровать давно принадлежала ей по праву рождения. На коленях у нее лежал шерстяной шэрлик, лох-

матый и кривобокий, с глазами из двух черных бусин, а рядом на покрывале был аккуратно разложен ряд из пяти шишек Лаоса, мелких и твердых, от которых на всю комнату терпко пахло деревом.

— Ты завтра уходишь вниз, — объявила она без вступления.

— Откуда ты знаешь?

— Все знают. Даже Тэйрис. Даже шэрлик. — Она подняла игрушку повыше. — Настоящие шэрлики все повторяют, что слышат. Он тоже повторил бы, только он шерстяной.

— Тебе это Тэйрис разболтал?

— Шэрлик, — сказала Миэла и погладила игрушку по кривому боку. — А меня вниз не берут, потому что я маленькая.

— Ты девочка, Миэла, и тебе всего пять лет.

— Все равно нечестно.

Розлиэн сел рядом. Миэла какое-то время ковыряла ногтем бусину на шэрлике и наконец спросила уже совсем тихо:

— А ты вернешься?

Он хотел ответить так, как ответил бы отец, коротко и твердо, но вместо этого услышал собственный голос:

— Мне страшно. Только ты никому не говори.

Сестра посмотрела на него серьезно, по-взрослому, и положила рядом с его рукой одну из шишек, самую ровную.

— Это тебе. Она счастливая. Я ее в прошлом месяце нашла, и с тех пор мне ни разу не влетало за испачканный по-

дол. Почти.

— Спасибо.

— Только принеси мне что-нибудь с земли. Листик. Или камушек. Настоящий, какого никто из наших не видел.

— Принесу.

Он сказал это легко, как обещают в десять лет, когда еще не знают, сколько стоят слова.

* * *

Он проснулся затемно, когда комната плавала в сизых сумерках, а кувшинки в висячих садах уже закрылись. В круглое окно без стекол тянуло холодом, и шелковые занавески шевелились, как дыхание спящего.

Спальня выходила на восток, в ту часть дворца, куда солнце заглядывает первым. Стены, сплетенные из живых ветвей Лаоса, за десятилетия срослись так плотно, что казались вырезанными из цельного куска дерева. Убранство было самое простое: низкая кровать, стол из выбеленных досок, полка с резными зверями, старый лук, привезенный дедушкой из Гэофольда, и сундук с медными уголками. На краю стола лежала счастливая шишка, и Розлиэн сунул ее в карман.

Едва он застегнул костяные пуговицы на рубашке, в дверь постучали, негромко, но так, что стало ясно: отказа не ждут.

Вошли четверо в длинных зеленых одеждах из мягкой кожи, с серебряной веткой Лаоса на груди, и каждый нес часть снаряжения. Первый положил на стол нагрудник, второй — наплечники с медными заклепками, третий — наручи

на крепких ремнях. Четвертый держал на вытянутых руках плащ цвета темного леса с бронзовой фибулой, в которую был вделан изумруд.

Кожа была зеленой, почти черной, и в утреннем свете на ней проступал узор, похожий на переплетение древесных волокон. Розлиэн коснулся ее пальцами и удивился: она была теплая и плотная, словно живая.

— Гэоденская кожа, сын вождя, — сказал старший. — Для первого спуска наследнику другой не приносят. Она выдержит и шип, и птичий коготь.

Облачали его молча и умело. Смазанные маслом ремни ложились на плечи, пряжки щелкали одна за другой, и с каждой новой частью броня становилась тяжелее. К последней застежке Розлиэн был уверен, что от него прежнего осталась едва ли половина, а вторую половину составляет кожа.

— Вождь и трицы ждут на восточной платформе, Лаэрон.

Во дворе было сыро и свежо, пахло корой, листвой и туманом. Свет еще не добрался до нижних мостов, и город казался удивительно тихим.

У поворота большого ствола стояла Миэла, босая, в ночной рубашке, и прижимала к себе шэрлика.

— Я просто смотрю, — сказала она, прежде чем кто-нибудь успел ее прогнать. — Мне можно. Это улица.

Розлиэн остановился. Он не знал, что сказать, поэтому похлопал себя по карману, в котором лежала шишка. Миэла серьезно кивнула и спрятала шэрлика за спину, чтобы тот не

видел, как она плачет.

Чем ближе он подходил к восточному рукаву, тем реже попадались дома-гнезда и лавки. Широкие мосты уступили место массивным настилам из живых ветвей, стянутым железными скобами, и смех здесь уже не слышался. Платформа открылась за поворотом ствола: она выступала за кромку кроны и висела над туманной бездной, а по ее краям тянулись смоленые канаты и цепи, уходившие в зелень.

Отряд уже собрался, и Розлиэн невольно замедлил шаг.

Трицы почти не разговаривали. Один проверял узлы, другой вертел в руках граненый наконечник копья, третий поправлял пряжки на броне товарища, и никому не требовалось лишних команд: каждый, казалось, с рождения знал свое место. С самого детства Розлиэн слушал истории о трицах, о тех, кто уходит под кроны Лаоса на недели, находит дорогу в кромешной темноте и прикрывает отход остальных. В Сэлайе говорили, что настоящий триц, потеряв след, прокладывает новый быстрее, чем успевает понять, что заблудился. Розлиэн мечтал оказаться среди них, и сердце у него колотилось где-то в горле.

— Лаэрон.

Отец стоял на самом краю платформы, спиной к бездне, в такой же гэоденской броне, только потемневшей от времени и исчерканной тонкими шрамами старых походов. За плечами у него висел длинный прямой меч, на поясе — короткий нож. Сегодня он больше походил на воина, который охотно

спустился бы вниз вместо сына, чем на вождя Сэлайи.

Элрион молча смотрел на сына, и Розлиэн поймал себя на том, что опять крутит пальцами кожаную тесьму на рукаве. Отец подошел и мягко отвел его руку.

— Это у тебя от матери.

Он сказал это тихо, и в голосе была едва заметная улыбка. Матери Розлиэн почти не помнил: она умерла вскоре после того, как родилась Миэла, когда ему едва исполнилось пять, и от нее у него остались только эта привычка да смутное тепло чьих-то рук, которое он, может быть, сам себе придумал.

— Я думал, ты и не видишь, — вырвалось у Розлиэна.

— Вижу, Лаэрон. Сказать вовремя не всегда умею, это правда, а вижу.

Слова были такие простые, что вчерашние обиды показались мальчику смешными и мелкими.

Элрион расстегнул чехол на поясе и вынул короткий изящный нож. Утренний луч прошел сквозь прозрачное янтарно-красное лезвие, и Розлиэну на миг почудилось, что внутри застывшей смолы до сих пор горит маленькое пламя.

— Это нож моего отца, — сказал Элрион. — Он отдал мне его здесь, на этой самой платформе, перед моим первым спуском. Я тогда думал, что не готов. Был уверен, что руки затрясутся.

— И затряслись? — выдохнул Розлиэн.

— Конечно. — Отец чуть качнул головой. — Но нож я удержал.

Он не сразу протянул клинок. Несколько мгновений он держал его в широких ладонях, словно передавал вместе с ним остаток того далекого утра.

— Теперь он твой.

Розлиэн принял нож обеими руками. Смола оказалась неожиданно теплой и гладкой, почти невесомой, и не верилось, что такая вещь может быть прочной.

— Из смолы Лаоса?

— Из самой старой, с Первого Яруса. Такой в Сэлайе почти не осталось.

— Он красивый, отец.

— Красота тут дело десятое. — Элрион нагнулся и сам пристегнул ножны к поясу сына. Пальцы его двигались точно и быстро, но, закончив, он задержал ладонь на ремне дольше, чем требовалось. — Носи его так, чтобы потом не стыдно было отдать собственному сыну.

Он поправил воротник на плаще Розлиэна и еще раз коснулся его плеча, будто под видом проверки застежек старался его запомнить.

— Ну вот. Теперь ты готов.

— Я буду его беречь. Обещаю.

— Себя береги, Лаэрон, — сказал отец совсем тихо, наклонившись так, чтобы не услышали даже трицы у цепей. — Нож можно выточить заново. Тебя заново не выточишь.

Он отвернулся к трицам, а Розлиэн остался стоять, чувствуя, как в груди разливается нежданное тепло. Всю жизнь

отец казался ему холодным, как камень в тени, и только сейчас Розлиэн понял, что Элрион похож на этот нож: он прозрачен насквозь, если посмотреть на свет. Громко любить он просто не умел. Он вставал затемно, чтобы своими руками проверить каждый ремень, провожал сына до самой опасной черты и отдавал ему единственное, что получил от собственного отца. Самые важные слова, наверное, и правда не выговариваются вслух, и тогда вместо них говорят вещи.

Розлиэн поклонился и пошел к середине платформы. Оборачиваться он не стал: ему почему-то казалось, что, если оглянется, следующего шага уже не сделает.

* * *

Цепи под тяжестью Листа тихо позвякивали, ветер у кромки крепчал. Среди трицев высился тот, перед кем уважительно умолкали даже старые разведчики.

— Проверить крепления! — негромко сказал Рийсар.

Кричать ему не требовалось. Все четырнадцать трицев разошлись вдоль краев: один присел у цепей, другой еще раз дернул канат, третий проверил запоры на ограждении. Рийсар за ними даже не следил. Он знал каждого, как знают собственные пальцы.

Он был почти на голову выше Элриона и заметно шире в плечах. Лицо у него казалось вырубленным из старого корня, обветренным и суровым, в глубоких морщинах, а седина в волосах и бороде давно перестала говорить о возрасте. Во дворце шептались, что никто не знает Нижнюю Землю и

Корни лучше него.

Рийсар оглядел мальчика ястребиными глазами, хмыкнул и подергал его за левый наплечник.

— Не великоват?

— Нет, вроде бы сидит плотно.

— Вроде бы, — повторил Рийсар без тени улыбки. — Внизу за «вроде бы» дорого платят, Лаэрон. Так сидит или нет?

— Немного болтается, — сознался Розлиэн.

Военачальник присел, перестегнул ремень на одно деление и кивнул.

— Вот теперь не болтается. — И тем же будничным тоном, каким спрашивают, вкусной ли была лепешка, добавил: — Боишься?

Врать ему было бессмысленно.

— Да. Очень.

— Хорошо.

Розлиэн поднял на него разноцветные глаза.

— Хуже было бы, если бы ты не боялся и воображал себя бессмертным. — Рийсар покосился на Элриона, стоявшего поодаль. — Отец наговорил тебе на дорогу умных слов?

Розлиэн кивнул, и военачальник усмехнулся.

— Он это любит. Весь в старого вождя.

Их взгляды с Элрионом на миг встретились поверх платформы. Вождь едва заметно качнул головой, а Рийсар махнул ему рукой, как старому другу, с которым спорят уже не

первый десяток лет, и снова повернулся к мальчику. Лицо его опять стало серьезным.

— Слушай внимательно, Лаэрон. Пока мы не вернемся наверх, ты не сын вождя и не наследник Сэлайи. Ты молодой ториец, которого Элрион доверил мне с одним приказом: вернуть домой целым. Идешь там, где я скажу. Останавливаешься, когда прикажу. Бежишь, только если побегу я. Ясно?

— Ясно, военачальник.

— Вот и хорошо. — Он хлопнул Розлиэна по защищенному плечу так, что тот едва устоял. — Остальному лес научит. Лучше любого наставника.

Он повернулся к отряду и рявкнул:

— По местам! Начинаем спуск!

Платформа, на которой торийцы спускались к земле сквозь толщу ветвей, не походила ни на корзину, ни на простой настил. В Сэлайе ее ласково звали Листом. Длинная, с загнутыми кверху краями, она и правда напоминала лист Лаоса, застывший посреди падения. По краю тянулось высокое ограждение, за которое каждый новичок первым делом хватался обеими руками. Четыре исполинские цепи уходили вверх и пропадали в тумане, и звенья у них были толщиной в запястье взрослого торийца. Когда Лист трогался, металл гудел низко и протяжно, как вздыхает под землей кто-то очень большой.

У одной из цепей, на низком табурете, сидел смотритель ворота Тарис. Трицем он не был и дальше поляны у Листа с

разведчиками не ходил, зато каждое звено узнавал по голосу. Перед ним из настила поднимался ворот из серого камня и бледного металла, отполированный руками многих поколений до зеркального блеска, а на боку у него были вырезаны три знака: стрелка вверх, стрелка вниз и круг.

Заметив, с каким недоумением мальчик разглядывает это нехитрое приспособление, Тарис ухмыльнулся.

— Что, не похоже на чудо? Все так глядят в первый раз.

— Я думал, рычагов будет много, — смутился Розлиэн.

— Рычаг один, зато цепь длинная. — Смотритель положил мозолистую ладонь на бронзовый рычаг. — Самое хитрое у нас наверху, а мое дело знак подать.

И плавно потянул рычаг на себя.

Где-то в глубине ворота глухо отозвалось, по платформе прошла легкая дрожь, цепи натянулись, и Лист, качнувшись, оторвался от края и пополз вниз.

— Там, на самом верху, у главного ворота сидят такие же упрямцы, как я, — рассказывал Тарис, пока ветер обдувал им лица. — Они нас не видят, зато чувствуют каждый натяг цепи. Просим остановку — зажимают тормозные блоки. Нужно вверх — впрягают грумов и крутят. Только не спеша. Лес спешки не любит, Лаэрон. Кто торопится под кронами Лаоса, тот быстро находит свой покой.

Спуск тянулся долго, и трицы почти не говорили. Иногда кто-нибудь поднимал руку, Тарис переводил рычаг на круг, и Лист замирал посреди ветвей. Тогда все слушали лес, словно

он говорил что-то и надо было дождаться конца фразы.

Первые часы Розлиэн не отходил от ограждения. Он искал внизу землю и находил только ветви Лаосов, уходившие одна под другую, как зеленые ступени. Свет менялся. Чем ниже они опускались, тем толще становились стволы и плотнее смыкались над головой кроны, солнце пробивалось сквозь листву длинными пыльными лучами и таяло в зеленом полумраке. Рядом бесшумно проплывали птицы с переливчатым, будто мокрым оперением. Раз или два в листве мелькнули большие тени, но ни один из трицев даже не повернул головы.

К полудню усталость взяла свое. Розлиэн опустился на настил, прислонился спиной к теплому борту и сам не заметил, как закрыл глаза. Покачивание, гул цепей и негромкие голоса трицев слились в убаюкивающий шум.

Сон пришел сразу и унес его далеко от Лаоса: пропал зеленый свет, пропала крона над головой, и даже гул цепей растаял без остатка.

Он стоял на краю чужого, пугающе тихого леса. Деревья здесь были низкие и скрюченные, с почерневшими от сырости стволами, согнутыми так, будто они застыли посреди крика. Под ногами хрустела сухая трава и лежали комья холодной черной земли, и ни одна доска не пружинила под ступней. Пахло застарелым одиночеством, сырой кожей и чем-то еще, тяжелым и ржавым, от чего сводило живот.

Он поднял руки, чтобы заслониться от этого запаха, и уди-

вился: ладони были чужими. Широкими, загрубевшими, в старых белых шрамах. Додумать эту мысль он не успел, потому что увидел ее.

Далеко впереди, на другом краю поляны, сквозь серо-синюю пелену тумана проступала хижина. Покосившаяся, сложенная из старых полусгнивших бревен, с просевшей крышей, поросшей бурым лишайником, и с потемневшими шкурами над входом. Единственное окно смотрело в глухую ночь, как пустая глазница.

Он замер, словно врос в землю, так и не сделав к ней ни шагу. От далекого строения веяло таким давним холодом и такой бедой, что у него перехватило дыхание. Хижина ждала. Она ждала, пока пройдут годы и рухнет привычный мир, и он, потеряв все, сам придет к ее порогу.

Он хотел закричать, зажмуриться, заставить себя проснуться и не мог даже отвести взгляд.

Проснулся он оттого, что Тарис, перегнувшись с табурета, укрыл его краем плаща.

Мальчик открыл глаза и вдохнул так, будто вынырнул из воды. Сердце колотилось о ребра, спина под броней была мокрой насквозь. Над головой по-прежнему шумела изумрудная крона, в лицо падали солнечные пятна, цепи гудели ровно и спокойно, и трицы все так же переговаривались у борта.

Розлиэн нащупал на поясе ножны и стиснул рукоять, дожидаясь, пока уймется сердце. Это просто сон, сказал он се-

бе, глупая страшилка от усталости и страха перед Землей.

Но руки, скажи на милость, почему у него в этом сне были такие руки?

* * *

К вечеру свет загустел до темно-зеленого. Воздух стал холоднее и влажнее, и запах переменился: сладковатая свежесть молодых листьев исчезла, и ее место занял плотный дух старой коры, прелой листвы, мха и настоящей сырой земли, которой Розлиэн никогда не видел, но почему-то сразу и безошибочно узнал.

Цепи натягивались все реже, и каждый толчок был слабее предыдущего. Наконец где-то высоко раздался глубокий металлический вздох, Лист едва заметно дрогнул, описал короткий полукруг и замер.

Розлиэн не сразу поверил, что четырнадцать часов спуска позади. Тело еще покачивалось само по себе, хотя цепи над головой молчали. Трицы без суеты проверяли ремни и оружие.

Рийсар первым подошел к краю платформы. Он положил руки на резной борт, долго вглядывался вниз, в сгустившиеся сумерки, и негромко, не оборачиваясь, произнес:

— Примите нас, корни Лаоса.

Никто не повторил этих слов: они не требовали ни ответа, ни эха. Несколько трицев чуть склонили головы, остальные на один короткий миг замерли, отдавая должное лесу, который позволил им пройти сквозь свои бесконечные кроны.

Обычай этот был старше самого Рийсара. Только после этого военачальник откинул запор ограждения и шагнул с Листа на землю, покрытую вековым мхом и палой листвой.

Розлиэн вдохнул холодный незнакомый воздух и пошел следом. Он нащупал в кармане счастливую шишку и накрыл ладонью рукоять янтарного ножа. Все, что осталось наверху, — дедушка и Тэйрис, обещание Миэле и отцовские слова — вдруг показалось коротким предисловием.

Настоящее путешествие Лаэрона начиналось здесь, где кончалась привычная власть высоты и начиналась дикая Земля, которую он до сих пор видел только в книгах.

И, как ни странно, в одном-единственном сне.

II. ЧЕТЫРЕХГЛАЗЫЙ ЗВЕРЬ

«Зверь, который тебя ненавидит, скажет тебе об этом сразу. Бойся того, кто улыбается тебе на привале и подает лепешку.»

— Рийсар, военачальник Сэлайи, наставление молодым трицам (IV эпоха)

Сапог с тихим сырым чавканьем продавил ковер из прошлогодних листьев. Земля под ним оказалась прохладной и плотной, совсем не похожей на настил мостов. Розлиэн перенес на эту ногу вес и замер, боясь вдохнуть.

Он стоял на настоящей земле.

На той самой, о которой столько лет читал в пожелтевших книгах и расспрашивал бывалых трицев. Доски, пружинящие под шагом, остались наверху вместе с веревочными лестницами и мостами, уходящими в зеленую гущу, а здесь лежала земля, темная и влажная, дышавшая слабым древним теплом и тянувшаяся во все стороны, пока не растворялась в сизой дымке между стволами.

Он шагнул еще раз, и под подошвой сухо треснула ветка. В тишине звук показался выстрелом из арбалета. Розлиэн испуганно глянул вниз. Рядом разросся мох, похожий на спутанные зеленые нити, среди него бледно светились шляпки ферилума, а чуть дальше поднимались резные стебли темного тенелиста. Из-под корня ближайшего исполина торча-

ли красные, словно вымазанные краской шапочки риальских грибов, а сам ствол снизу доверху был облеплен серебристым лишайником.

Все это он знал назубок. Мог без запинки назвать каждое растение, сказать, когда оно цветет и от какой раны помогает. Однако разглядывать блеклые рисунки в душной библиотеке было одно, и совсем другое было чувствовать, как земляной холод пробирается сквозь подошвы. Между строками старых книг и настоящим лесом лежала пропасть, и в нее, пожалуй, поместился бы весь Лаос.

У самой его правой ноги что-то шевельнулось.

Розлиэн отпрянул и взмахнул руками, хватаясь за воздух. Из-под вороха листьев выскочил серый скрипук размером с кулак, с длинным голым хвостом. Зверек замер, смешно дергая розовым носом, оценивающе оглядел огромного пришельца и молнией исчез в тенелисте.

Розлиэн улыбнулся, чувствуя, как отпускает сердце. В книгах писали, что скрипуки пугливы и не подходят к торийцам ближе чем на двадцать шагов, если только от тех не пахнет сушеным мясом. Высоко в ветвях раздался резкий треск: это кричал зеленый клюв, пестрая птица, которую трицы считали вестником ясной погоды. Все вокруг было до боли знакомым и совершенно новым разом.

— Ну что, исследователь? — прозвучал рядом низкий хрипловатый голос Рийсара. — Земля еще не пыталась тебя проглотить?

Военачальник стоял в нескольких шагах, опираясь на длинное копье, и с ухмылкой наблюдал за мальчиком.

— Нет, — сказал Розлиэн. — Она мягче, чем я думал. И пахнет совсем иначе.

— Это пока ты о первый корень не растянулся. — Рийсар кивнул вниз. — Под ноги смотри, исследователь, на верхушки ты уже насмотрелся.

Розлиэн опустил взгляд и увидел толстый змеистый корень прямо перед своим носком.

— Я его видел, — соврал он и аккуратно обошел его.

— Видел, значит. — Рийсар прищурился, но спорить не стал. — Тогда слушай первое правило трица, его всем новичкам говорят в первый же час: не спотыкаться дважды об один и тот же корень. О первый спотыкаются все, Лаэрон, и я в свое время спотыкался, а за второй тебя уже никто не пожалеет.

Он хохотнул и ушел к остальным, а Розлиэн, который втайне надеялся услышать что-нибудь про храбрость, остался один. Он присел и подобрал с земли маленький гладкий камешек цвета тусклого серебра, еще мокрый от росы, и смотрел на него так, будто держал в руках драгоценность. Миэла просила что-нибудь настоящее, чего никто из наших не видел. Он завернул камень в лоскут и спрятал в сумку, рядом с шишкой.

Трицы тем временем хозяйничали у огромного корня высотой сэлов в восемь, выбирая место для привала. Розлиэн

впервые видел, как они ведут себя на земле, и зрелище его заворожило. Куда только делась осторожность, с какой они ходили по подвесным мосткам! Здесь они двигались быстро и бесшумно, слегка пригибаясь, как хищники: находили проходы между корнями, замечали вмятины на влажной почве, проверяли ветви над головой и почти не разговаривали, обмениваясь лишь щелчками пальцев.

Коренастый воин со шрамом на подбородке присел у куста и ткнул пальцем в подсохшую грязь.

— Сальтива, — бросил он напарнику. — Свежая. С полчаса как пробегала.

Розлиэн опустился рядом на колени. Отпечаток был таким четким, будто сальтива только что скрылась за ближайшим стволом. И Розлиэн вдруг понял то, чему не научила бы его ни одна книга: земля под ногами была летописью. Помятый стебелек, надломленная веточка, пара серых перьев во мху — все рассказывало свою маленькую историю, и лес можно было читать, как раскрытую страницу, если знать, куда смотреть.

Он не знал еще, что совсем скоро прочтет в нем страницу, которую не захочет помнить.

Рийсар остановился рядом, глядя, как мальчик водит пальцем по следу.

— Хорошо смотришь. Элрион в твои годы хуже читал. Все торопился, хотел сразу узнать, чем кончится.

— А ты ему говорил?

— Говорил. — Рийсар усмехнулся в бороду. — Кивает, будто слушает, и все равно делает по-своему. Подрастешь и сам так начнешь, не удивляйся. Это у вас в роду.

Розлиэн ничего не ответил, но внутри у него потеплело, как от глотка горячего взвара: кто-то сказал о нем и об отце в одной фразе так просто, будто иначе и быть не могло.

Коренастый со шрамом, которого остальные звали Хаэром, покончил со следом сальтивы и вернулся к мальчику. Он присел рядом, достал нож и принялся чистить им под ногтями, неторопливо, с видом того, у кого в жизни нет ни одной тайны.

— Ну как, сын вождя? Нравится внизу?

— Очень, — честно сказал Розлиэн. — Только я не знал, что тут так тихо.

— Тихо? — Хаэр усмехнулся одним углом рта. — Это зверье затаилось, пока мы тут топчемся. А только запомни: когда в лесу тихо, значит, кто-то слушает. — Он быстро, будто невзначай, оглядел поляну, словно пересчитывал головы. — Ты от Рийсара далеко-то не отходишь? Вот и правильно. Нехорошо будет, если сын вождя потеряется.

Розлиэн кивнул и ничего не заподозрил, хотя ему сделалось неуютно, как бывает, когда кто-то слишком внимательно смотрит тебе на руки.

* * *

К ночи лагерь был готов. Костра не разводили: в Роуде огня не разжигают, это Розлиэн знал с пеленок, и все-таки, уса-

живаясь, по привычке книжного мальчика спросил почему.

— Лес огня не любит, — ответил Рийсар, не поднимая головы. — Разведешь здесь костер и до утра узнаешь, кто еще его не любит.

Свет давали грибы. У подножия корня широким кругом рос ферилум, и его бледные шляпки светились ровно и холодно, как вода под луной, а на стволе повыше зеленоватыми пятнами тлел мох. Трицы рассаживались вокруг этого света так, как, по рассказам, в Гэофольде садятся вокруг очага. По рукам пошли фляги с холодным травяным взваром, полоски вяленого мяса и лепешки, от которых еще пахло домом, Сэлайей и дымником.

Розлиэн сидел на поваленном стволе, одетом в бархатный мох, и вытягивал гудящие ноги. Он то и дело поглядывал вниз и трогал носком сапога землю, словно проверял, не исчезнет ли она. Еще утром эта твердь была для него легендой, а теперь лежала прямо под ним.

Наверху садилось солнце, но здесь, на дне Роуда, свет почти не менялся. Над головой смыкался сплошной купол из крон Лаосов, и цвета в грибном свете казались густыми, а расстояния между стволами обманчивыми, так что глаз путался в игре теней. Где-то высоко тяжело хлопнули крылья: ночная птица вылетала на охоту.

— А правда, что у старых корней есть собственные тропы? — спросил Розлиэн у Рийсара, который неподалеку правил точильным камнем лезвие ножа.

— Есть. — Скрежет бруска не прервался. — Только торийцу большая их часть без надобности.

— Почему?

— Потому что у некоторых скверная привычка кончаться там же, где начались.

Розлиэн нахмурился.

— Это как? По кругу?

— Очень просто. Пойдешь по такой тропе сотню шагов, зайдешь за пару кустов, заблудишься в трех Лаосах и выйдешь к тому же привалу, от которого ушел. Только уже без сапог. Или без головы, как повезет.

Трицы сдержанно хохотнули, и Розлиэн покраснел. Рядом на корточки опустился Тарис и сунул ему в руки полоску вяленого мяса на лепешке.

— Не слушай его, он всех новичков пугает, — сказал смотритель вполголоса. — Потеряться тут можно, это правда. Но Лист на месте, цепи на месте, и я на месте при цепях. Пока я сижу у ворота, у вас всегда есть дорога наверх.

— А если что-нибудь случится?

— Что тут может случиться? — Тарис хлопнул себя по колену. — Шесть лет у ворота сижу, и ни одной беды. А если и случится, я так дерну сигнальный жезл, что на верхних ярусах проснутся даже дозорные.

Он подмигнул и пошел к цепям, насвистывая. Этот свист Розлиэн потом вспоминал много лет.

Мальчик снова уставился в чащу. Ему хотелось увидеть

все разом: каждый корень, каждую птицу, каждую тропу. Он уже набрал в грудь воздуха, чтобы спросить, правда ли, что в глухих чащах Роуда водятся моррахи, когда что-то на самой границе видимости заставило его осечься.

Между двумя стволами, в густой тени, мелькнуло бледное пятно.

Голоса трицев разом отодвинулись куда-то далеко.

Он прищурился до рези в глазах, но увидел лишь паутину ветвей, влажные листья тенелиста и черные провалы между листьями, которые в вечном полумраке Роуда складывались во что угодно.

«Показалось, — подумал он. — Игра света».

Он уже собирался отвернуться, когда в нескольких шагах левее, прямо из тени, на него глянули два светлых глаза, поймавших бледный отблеск ферилума. Они смотрели на него в упор и не мигали.

А над ними, чуть выше и глубже во тьме, зажглись еще два, густо-оранжевые, круглые, как спелые ягоды.

Четыре глаза, одна пара над другой.

Они не издавали ни звука и не двигались. Розлиэн, не поворачивая головы, покосился на Рийсара: тот спокойно водил пальцем по земле, набрасывая какой-то чертеж, и ничего не замечал. Мальчик уже открыл рот, чтобы крикнуть «смотрите!», когда верхние, оранжевые глаза медленно, лениво закрылись и открылись снова.

От этого простого моргания волосы у него на затылке

встали дыбом, и по спине скатилась ледяная капля.

Глаза погасли, будто кто-то задул свечи.

Три долгих вдоха он смотрел в пустую тьму, и тогда они появились снова, гораздо левее, за мшистым корнем. Нижняя, светлая пара оставалась неподвижной, а верхняя опять медленно моргнула, словно звала.

Розлиэн поднялся с бревна.

— Ты куда? — спросил Рийсар, не отрываясь от чертежа.

— Я сейчас. Быстро. — Голос показался ему чужим и сухим.

— Далеко не уходи. Чтоб я тебя видел, понял?

— Понял.

Он и сам не смог бы объяснить, почему не сказал правду. Здравый смысл и все наставники хором твердили одно: заметил странное — доложи старшему. Надо было указать пальцем в чащу, крикнуть и остаться за спинами трицев, под защитой их клинков.

Но четыре глаза снова мелькнули меж стволов, и ему с безумной уверенностью почудилось, что ждут они именно его и обращаются лично к нему.

Он сделал шаг и обернулся. Трицы сидели в кругу бледного света всего в десятке шагов, Рийсар что-то доказывал напарнику, и все было в порядке, а дело займет одно мгновение.

Розлиэн переступил скользкий корень и вошел в холодную тень первого ряда стволов. Шагов через десять, про-

дравшись сквозь цепкие кусты, он остановился ровно там, где видел глаза. Перед ним были полусгнивший ствол во мху, куртина тенелиста и непроглядная тень под листьями. Он поискал следы, прислушался, обошел дерево и заглянул за него: там было пусто.

«Показалось, — с облегчением и досадой подумал он. — Усталость и тени».

И в тот же миг у него за спиной, со стороны лагеря, раздался резкий, оглушительный звон металла.

* * *

Он вздрогнул, как от удара хлыстом, и развернулся. Сквозь шум листвы долетел короткий крик, полный боли, за ним второй, а следом тяжелый глухой звук упавшего тела.

Розлиэн побежал. Он не думал ни о тропах, ни о корнях, несколько раз падал, поднимался и бежал дальше, ломая локтями ветви, и чем ближе подбегал, тем яснее слышал лязг клинков и злые выкрики.

Ветви расступились, и перед ним открылась поляна.

У цепей Листа лежал Тарис, тот самый смотритель, который утром так весело объяснял ему устройство ворота. Он уткнулся лицом в мох, рядом валялся сломанный сигнальный жезл, а на спине у него расплывалось темное пятно, от которого в холодном воздухе поднимался пар. Тарис не шевелился.

Посреди поляны кипел бой.

Рийсар сражался один против шестерых, и все шестеро

были из его собственного отряда. Остальных трицев мальчик нигде не видел.

Таким Розлиэн своего военачальника не знал никогда. От насмешливого торийца, который потешался над его спотыкающимся шагом, не осталось и следа. Рийсар двигался стремительно, почти не по-торийски, клинок его превратился в серебристый вихрь: удар, отскок, разворот на пятке, мгновенный выпад. Однако врагов было слишком много. Один напирал спереди, двое заходили с боков, еще один выжидал позади.

Рийсар отбил клинок первого, увернулся от рубящего удара второго и достал острием плечо третьего. Тем временем один из предателей бесшумно зашел ему за спину и уже занес меч.

— Рийсар! Сзади! — закричал Розлиэн, выбегая из-за дерева.

Военачальник на миг повернул голову на голос.

Этого оказалось довольно.

Клинок вошел ему под ребра с тяжелым влажным хрустом. Рийсар пошатнулся, оказался лицом к лицу с нападавшим, попытался устоять и даже успел поднять оружие, но второй удар пришелся ему в грудь. Он сделал неверный шаг, медленно опустился на колено, выронил меч и рухнул ничком в окровавленный мох.

Розлиэн застыл на краю поляны. Это сделал он: его крик отвлек Рийсара на тот самый миг.

Рийсар не двигался.

Над поляной повисла звенящая тишина. Шестеро предателей, забрызганных чужой кровью, тяжело дыша, повернулись к мальчику, стоявшему между двух стволов. Первым опомнился коренастый со шрамом, тот самый, что показывал ему след сальтивы. Он вскинул окровавленную руку.

— Мальчишка! За ним, живо! Не дайте уйти!

Розлиэн не стал ждать. Страх, сковавший его ледяным панцирем, лопнул, и осталось одно желание: бежать.

Он метнулся в чащу, не разбирая дороги, перепрыгивал корни, проламывался сквозь кусты и закрывал лицо от мокрых ветвей, хлеставших по щекам. Позади загремел топот. Трицы бросились следом, ломая подлесок и перекликаясь злыми отрывистыми голосами.

— Заходи справа!

— Не упусти! Его в первую голову!

Легкие горели сухим огнем. Роуд он знал по книгам: названия деревьев и трав, ядовитые грибы и птиц, которые предвещают дождь. Только ни одна книга и ни один наставник не говорили, как спасаться от шестерых обученных воинов, когда каждый шаг делаешь вслепую в зеленой темноте. В книгах не было главы «Что делать, если час назад они делили с тобой лепешку».

Корни выскакивали из-под ног, как живые. «Не спотыкаться дважды об один и тот же корень», — сказал Рийсар, и Розлиэн, споткнувшись в третий раз, чуть не рассмеялся

от ужаса: у него не вышло даже этого.

Он оглянулся на бегу и увидел между стволами одного из трицев. Тот бежал легко и размашисто, держа наготове короткий мечелом, и расстояние между ними сократилось уже до десятка шагов. Розлиэн сжал зубы и прыгнул прямо через груду упавших стволов.

Чужое дыхание, казалось, уже обжигало затылок, когда у самого уха воздух разрезал короткий злой свист.

Вж-жух!

Боль ударила так, что мир вспыхнул белым. Арбалетная стрела пробила кожаный стык между наплечником и нагрудником и вошла в левое плечо.

Розлиэн вскрикнул, потерял равновесие и не успел остановиться: нога ступила на край невидимого в траве обрыва.

Земля ушла из-под ног. Он кубарем полетел вниз, ударился боком о каменистый склон и покатился по мокрой глине, отчаянно хватаясь правой рукой за корень, но пальцы соскользнули. Камни, ветки и комья земли били его со всех сторон, пока он не рухнул на дно глубокой канавы, заросшей тенелистом.

Он лежал, не понимая, жив или нет. Слышал только свое рваное дыхание, чувствовал, как боль бьется в плече в такт сердцу, и ощущал щекой холод мокрой земли. Голоса трицев доносились откуда-то сверху, с края обрыва, глухо, как сквозь вату.

— Где он?

— Упал вниз.

— Спустимся?

— Брось. Он не жилец, я в него попал. Внизу одни буераки, темень, хоть глаз выколи. Далеко не уйдет. Идем к Листу, надо дело кончать.

Голоса стихли и растворились в шуме леса.

Он попытался встать, но тело не послушалось, и перед глазами поплыли темные круги. Последним, что он почувствовал, прежде чем потерять сознание, был влажный, пахнущий прелью лист тенелиста, прижавшийся к горящей щеке.

Темнота оказалась не пустой.

В ней под ногами снова шуршала сухая трава. Низкие скрюченные деревья расступались, пропуская его, и он шел сквозь них, как по коридору, а ветви не цеплялись за одежду, словно знали его. Деревья кончились, и перед ним раскинулась серая пустошь, из тумана которой торчали колья старой ограды.

Хижина стояла там же, где в прошлый раз, только теперь была ближе, как будто кто-то подвинул ее, пока он не смотрел. Над просевшей крышей слабо шевелилась тонкая струйка, и он не сразу понял, что это пар, какой поднимается от свежего отвара.

Он опустил глаза. Правая ладонь, вся в шрамах, сжимала что-то гладкое и теплое. Разглядеть, что это, он не успел, потому что со стороны хижины донесся тихий женский голос.

— Пестроглазый, — позвала она. — Пестроглазый, иди

домой.

Боль потянула его вверх, к свету.

* * *

Сознание возвращалось короткими рваными проблесками.

Сначала он просто лежал и смотрел вверх, где темными исполинами уходили в зеленый полумрак стволы Лаосов и не было ни клочка неба. Он шевельнул пальцами, и плечо ответило такой вспышкой боли, что пришлось замереть. Память вернулась разом: свист стрелы, падение, Тарис, Рийсар, предатели. Хотелось кричать и звать на помощь, но из горла вырвался только хрип. Он зажмурился, и слезы потекли по вискам.

Когда он снова открыл глаза, на груди у него лежала странная тяжесть.

Он с трудом поймал взглядом то, что на нем сидело. Это была сова, такая огромная, что закрывала ему полгруди, и она слегка расправила широкие дымчато-серые крылья, держа равновесие. Круглые глаза цвета заката внимательно смотрели на него в упор.

Из глубины ослабевшей памяти сама собой всплыла строчка из старого бестиария: рианская молчаливая сова, редчайшая ночная птица Роуда, летает беззвучно. В книгах писали, что такие совы никогда не приближаются к жилью торийцев и способны часами сидеть неподвижно, сливаясь с корой.

Он медленно моргнул. Сова, склонив голову набок, моргнула в ответ.

— Рианская... — шевельнулись его запекшиеся губы.

Птица не двинулась. Ему почему-то показалось, что в ее взгляде есть что-то совсем не звериное, почти осмысленное сочувствие. Но думать об этом сил не было: новая волна боли накрыла его, лес закружился, и он снова провалился в темноту.

Во второй раз он очнулся от толчков. Его куда-то тащили.

Тащили без всякой бережности. Тело волочилось по земле, одежда цеплялась за мох и кусты, мелкие листья забивались под броню, и плечо отзывалось на каждый рывок. Он приоткрыл веки и увидел все ту же сову. Она сидела у него на груди, вцепившись когтями в гэоденскую кожу, и покачивалась в такт шагам. Кто-то очень большой держал Розлиэна зубами за воротник и тянул так, словно хотел поскорее избавиться от ноши.

Один раз тот, кто тащил, остановился, и воротник выпал из его пасти. Розлиэн упал лицом в мох и сквозь мутную пелену увидел перед собой серый ствол, а на нем, высоко, три косые зарубки, глубокие, с чистыми светлыми краями. Над ним раздался низкий глухой рык, похожий на спор с самим собой. Рык длился долго. Наконец воротник снова затянулся на шее, и зверь двинулся дальше, пригнувшись к самому мху, быстрее и злее прежнего, крадучись, как ходят по чужой земле.

Мальчик так и не увидел, кто это был. Мелькали корни, тенелист, темные стволы, и земля под ним менялась: мох сменялся камнями, камни сухими листьями. Сова повернула голову почти задом наперед и уставилась на него оранжевыми блюдцами. Розлиэн бессильно закрыл глаза.

Когда он очнулся в третий раз, вокруг стояла глубокая тишина.

Он лежал в высокой лесной траве, закрывавшей его почти до груди, и тонкие шелковистые стебли касались лица и шеи. Боль никуда не делась, но из режущей стала тупой и давящей. Древко стрелы было обломано у самой кожи, а на ране лежал плотный влажный ком растертых листьев, пахнувший горьким соком. Розлиэн узнал этот запах по библиотечным гербариям: лист гиля, который останавливает кровь. Никто его не перевязывал. Листья просто прижали к ране и оставили.

Сова сидела у него на груди. Пока Розлиэн смотрел, она клювом и лапой поправила выпавший листок, прижала его к краю раны и отступила на шаг, склонив голову, как будто проверяла свою работу.

Он пошевелил пальцами, и рука послушалась. Не глядя, он нащупал на боку сумку. Она была цела, и в ней лежали лоскут с камешком и счастливая шишка, и от этой нелепой сохранности у него защипало в глазах: он потерял отряд, Рийсара и дорогу домой, а подарок для пятилетней девочки не потерял.

Превозмогая боль, он поднял голову.

В десяти шагах от него стоял зверь.

Розлиэн помнил его по гравюрам в библиотеке Сэлайи: огромный поджарый силэй с гладкой пепельной кожей, на которой не росло ни волоска, и бледными глазами, блестевшими в полумраке, как два кусочка льда. О силэях, древних стражах Роуда, слагали легенды, и в легендах они ходили в сбруе рядом с торийцами. Этот стоял без сбруи, вполоборота к Розлиэну, и смотрел в лес. Бока его мерно ходили, и под пепельной кожей перекатывались тугие мышцы.

Розлиэн шевельнулся, и зверь мгновенно обернулся.

Бледные глаза остановились на мальчике, и в них горела холодная давняя ненависть. Верхняя губа поползла вверх, открывая клыки длиннее кинжалов, и из горла вырвался рык, от которого задрожали стебли травы. Силэй шагнул вперед, резко втянул воздух, фыркнул, как фыркают на падаль, и мотнул головой, будто сам запах торийца был ему мерзок. Он ударил лапой по земле и оставил во мху борозду глубиной в ладонь.

Розлиэн замер, не смея вдохнуть.

Зверь постоял над ним, глухо клокоча горлом, и вдруг, словно давно все решил и злился только на себя за это решение, отвернулся. Он прошел несколько шагов, тяжело лег спиной к мальчику и положил морду на лапы. Лег он ровно так близко, чтобы Розлиэн мог его видеть, и ровно так далеко, чтобы самому на него не смотреть.

Сова бесшумно слетела с груди Розлиэна, скользнула над

травой и уселась на широкую голову зверя, между ушами. Силэй дернул ухом и не шелохнулся, как будто давно привык носить ее на себе.

— Это вы... — хрипло шепнул Розлиэн. — Вы меня вытащили?

Зверь не ответил, только уши его прижались, и по хребту пробежала дрожь отвращения.

— Спасибо.

Силэй рывком поднял голову и обернулся. Сверкнули клыки. В бледных глазах вспыхнуло такое, отчего Розлиэну захотелось зарыться в траву: брезгливая усталость того, кто сделал то, чего делать не хотел, и не желает слышать за это никаких слов.

И тогда в голове у него сложилась картина: темный лес, грибной свет, четыре глаза между деревьями. Два светлых внизу. Два оранжевых чуть выше, мигающих.

Розлиэн смотрел на серого зверя и птицу у него на голове, и по коже у него бежали мурашки.

Два светлых глаза силэя. Два оранжевых глаза совы на его макушке.

Те самые четыре глаза, которые позвали его в чащу и увели от лагеря незадолго до бойни.

«Далеко не уходи», — сказал ему Рийсар.

Горло сжалось, и слезы, которые он так старательно держал, пошли сами. Он ушел. Он нарушил первый же приказ, потому что его, как маленького, поманили глаза в темноте.

Если бы он остался на привале, был бы Рийсар жив? Или он лежал бы теперь рядом с Тарисом? Ответа не было, и от этого становилось еще страшнее.

Розлиэн нащупал в сумке лоскут с камешком и сжал его в кулаке. Где-то далеко наверху, в Сэлайе, никто еще не знал, что Лист вернется без него. А здесь, на дне леса, где только что убили тех, кому он верил, в десяти шагах от него лежало огромное существо, которое его ненавидело и все же не уходило.

Почему, он не знал. Знал только, что тепла в дыхании зверя не было и что дыхание это, как ни странно, все-таки было дыханием живого.

III. ХОЗЯЙКА И ЛУНА

«Лекарю довольно трех вещей: чистой воды, теплого очага и двери, которую он не запирает перед чужим.»

— из «Наставлений лекарей рода Рона» (список III эпохи)

Когда он уснул, Розлиэн не помнил. Проснулся он от холода, лежа лицом в мокрой траве, и несколько мгновений не понимал, почему над ним нет ни ветвей, ни цепей, ни мостов Сэлайи. Память вернулась всей своей тяжестью: Рийсар, Тарис, стрела.

Над ним стоял силэй.

Ночью зверь лежал поодаль, а теперь возвышался во весь свой пепельный рост и смотрел в сторону, на лес, и сова дремала у него на голове, нахохлившись. Заметив, что мальчик шевельнулся, зверь опустил морду и ткнул его в бок так, что Розлиэн охнул и откатился, а сам развернулся и пошел, не оглядываясь, мерным тяжелым шагом.

Объяснять ничего не требовалось: либо вставай, либо оставайся.

Розлиэн встал и пошел следом.

Эти два дня он потом помнил урывками. Лихорадка склеила их в одну длинную серую полосу, в которой уцелели только запахи и звуки. Силэй держался так, чтобы мальчик едва различал его впереди и слышал шаги. Он не помогал, не ждал и не оглядывался, однако ни разу не ушел совсем,

даже когда Розлиэн, шатаясь, отставал и падал.

Один раз зверь остановился у старого ствола, на котором темнели три косые зарубки, точь-в-точь такие, какие Розлиэн видел, когда его тащили. Силэй нюхал воздух, прижав уши, и шерсть у него на загривке встала бы дыбом, будь у силэев шерсть; по пепельной коже прошла крупная дрожь. Он оглянулся на лес, будто кто-то мог за ним следить, пригнулся к самой земле и переступил незримую черту так осторожно и быстро, как вор переступает чужой порог. После этого он злился еще полдня и рычал на каждый куст.

На второй день, обезумев от жажды, Розлиэн ползком добрался до лужи в корнях и уже наклонился, чтобы напиться, когда сзади в воротник вцепились клыки. Его отшвырнули так, что он ударился спиной о ствол. Силэй стоял над лужей, раздувая бока, и с отвращением бил лапой по воде, и только тогда Розлиэн разглядел, что поверхность ее затянута радужной маслянистой пленкой, а по краям лежат мертвые мошки. Зверь фыркнул ему в лицо, как фыркают на глупого щенка, и пошел вперед. Шагов через сто он вывел мальчика к чистому ручью и, пока тот пил, стоял в стороне, отвернувшись.

Ночью сова бесшумно опустилась ему на лоб и положила на пылающую кожу мокрый холодный лист. Лист пах мятой и речной водой. Розлиэн решил, что это ему приснилось, но утром лист лежал рядом, уже высохший, а силэй стоял поодаль, спиной к нему, с тем же недовольным видом, будто

ничего не случилось и ничего не может случиться.

На третье утро лес кончился.

Он кончился так внезапно, словно кто-то отсек его одним взмахом исполинского клинка. Только что над головой у Розлиэна смыкался тяжелый темно-зеленый шатер, пахло сырой прелью и грибами и стояла та настороженная тишина, от которой закладывает уши, и вдруг ветви расступились, и на него обрушилось солнце. Прохладная глушь осталась позади, как подвал за захлопнутой дверью, а впереди открылись залитые светом поля. Ветер нес с холмов запах сухой полыни и нагретой гэоденской кашки, и где-то в этом запахе пряталась тонкая нитка дыма. Дым обещал жилье, теплый хлеб и крышу над головой, и все эти дни Розлиэн не смел даже желать ничего подобного.

Силэй остановился у самой кромки, там, где кончалась тень и начинался свет. Он замер между двух мшистых валунов, и бока его мерно вздымались. Дальше он идти не собирался.

Розлиэн обернулся к нему. Ему хотелось что-нибудь сказать. «Спасибо» уже было однажды отвергнуто, но промолчать было стыдно, и он открыл рот.

Бледные глаза скользнули по нему и тут же отвернулись, будто перед ними было пустое место или что-нибудь похуже. Силэй глухо и коротко фыркнул, как отплевываются от дурного вкуса, и попятился в тень. Лес принял его бесшумно, и через мгновение на его месте колыхались только ветки меж-

ду стволами.

Сова слетела с головы зверя в последний миг, мягко, как падает лист. Она описала над мальчиком дугу и камнем ушла вниз, в глубокий овраг, заросший тенелистом и чертополохом.

— Подожди... Куда ты? — прошептал Розлиэн и потянулся за ней дрожащей рукой.

Голос сорвался на хрип. Горло горело, губы запеклись.

Шаги давались ему с трудом. Боль в левом плече давно перешла тот рубеж, за которым ее еще можно терпеть или не замечать. Под тяжелым плащом все горело и дергало, нагрудник был пробит в месте стыка ремней, и наконечник по-прежнему сидел где-то глубоко в мышце. При каждом движении боль вспыхивала белыми искрами, и к горлу подкатывала тошнотворная слабость.

Он шагнул вперед, зацепился за вылезший из земли корень и покатился по скользкому склону. Он хватался за колючую ежевику и осыпающуюся землю, пока не остановился у самого дна и несколько мгновений лежал, глядя в небо и дожидаясь, пока в голове перестанет звенеть. Над ним качалась кашка. Небо здесь было одно, без сотен зеленых слоев, и это казалось ему удивительным.

Когда мир перестал плыть, он увидел землянку.

Она пряталась на самом дне оврага, под сплетением корней огромного старого шолона, и казалась продолжением холма: бревенчатые стены уходили в песчаную почву, плос-

кая крыша была одета густым дерном, на котором цвели синие колокольчики и розовая кашка. Из глиняной трубы, торчавшей прямо из травы, поднимался тонкий сизый дымок, пахнущий сухостоем и шолоновой корой.

Сова скользнула в щель над дощатой дверью, и изнутри тотчас раздался звонкий и ужасно недовольный голос:

— Луна! Ну где ты опять шляешься? Я же по-человечески просила: не улетай далеко! Каша остыла, масло растаяло, а ты где-то перья сушишь! И не щелкай на меня, я с тобой не разговариваю!

Розлиэн привалился правым плечом к косяку, нащупал резную ручку и толкнул низкую дверь. Она открылась с мягким скрипом, впуская в землянку полосу света.

За порогом стояла девочка.

Выглядела она лет на девять. На ней было льняное платьице с засученными рукавами и длинный фартук в пятнах ягодного сока и земли, нос был густо усыпан веснушками, а из-под съехавшего набок капора выбивались пышные каштановые волосы. В руках она сжимала деревянную лопатку для трав и держала ее наперевес, точь-в-точь как держат меч.

Увидев на пороге чужака, бледного до синевы, в грязи и засохшей крови, в тяжелом плаще с зеленым камнем, она ахнула, выронила пучок сушеной мяты и одним прыжком отскочила к очагу.

В больших карих глазах вспыхнула настороженность, какую с малых лет воспитывает жизнь по соседству с лесом. О

торийцах здесь в каждом доме ходили самые мрачные слухи. Старики рассказывали у печей, будто лесные не знают жалости, умеют оборачиваться зверьми и приносят с собой мор и пожары. Розлиэн слышал о таких рассказах еще в Сэлайе, но никогда не думал, что окажется по другую их сторону.

— Эй! Ты кто такой? — выпалила девочка, выставив лопатку и грозно прищурив один глаз, словно целилась. — Как ты сюда попал? Стой где стоишь! Это мое тайное место, понял? Мое! Если за тобой кто-нибудь из чащи идет, мне из-за тебя тут пропадать, да? Я сейчас как огрею, мало не покажется!

— Пожалуйста... — с трудом выговорил Розлиэн на общем наречии. — Не бойся. Я один. И я ранен.

Наставники в библиотеках Сэлайи учили его говорить на языке людей выверенно и неторопливо, и даже теперь, когда у него срывалось дыхание, слова звучали непривычно гладко для этих мест.

— А мне все равно, ранен ты или нет! — не уступила девочка, хотя пальцы на лопатке заметно дрожали. — Нас с малолетства учат: увидишь торийца не в Торийский день, беги или зови кузнеца с вилами! Уходи отсюда! Не то я выскочу и позову взрослых, они с тобой быстро разберутся!

Она шагнула вперед, явно собираясь выпихнуть непрошеного гостя обратно в овраг, и в этот миг сова, сидевшая на балке, сорвалась с места.

Птица с громким хлопком опустилась девочке на плечо,

едва не сбив с нее капор, и принялась настойчиво и сердито толкать хозяйку крылом в щеку и клевать в макушку, а под конец уткнулась клювом ей в ухо и тихо, требовательно заухала.

— Ой! Перестань! Луна, щекотно же! — Девочка попыталась отмахнуться, но сова оказалась удивительно упрямой.

Наконец она перелетела на край стола, уселась рядом с глиняной миской и уставилась на хозяйку самым строгим взглядом, на какой способна лесная птица.

— Ты с ума сошла? — ахнула девочка, переводя взгляд с птицы на застывшего в дверях Розлиэна. — Ты сама его привела? Ко мне? В мое место?

Сова очень выразительно кивнула круглой головой.

— Но он же из Леса! — зашептала девочка и всплеснула руками, уронив лопатку. — Ты же знаешь, с ними нельзя связываться! У них вместо сердца сосновая шишка, а вместо души мох! Они детей в чащу заманивают и в пни превращают!

Вместо ответа сова расправила крылья, шагнула вперед и ткнула клювом в сторону миски. Вид у нее был такой, словно она говорила: «Хватит болтать глупости. Неси холст».

Девочка глубоко и обреченно вздохнула. Подозрение не ушло из ее глаз, но спорить со своей совой она, видимо, не умела. К тому же она наконец разглядела, как синеют у мальчика губы, как дрожат колени и как судорожно впились его пальцы в дверную раму.

— Ох, наказание на мою голову, — проворчала она, подбирая лопатку. — Слышишь, ты? Это только ради Луны! Только потому, что она просит! И чтобы никакого колдовства! Проходи и сиди тихо. Выкинешь что-нибудь подозрительное, я выскочу в окошко и натравлю на тебя всех деревенских собак. Понял?

— Понял, — прошептал Розлиэн.

Она подставила ему худенькое, но крепкое плечо, всем своим видом показывая, что делает это через силу, и довела до скамьи у стены. Розлиэн рухнул на нее, как мешок.

Землянка оказалась совсем не такой, какой он ее себе представлял. После леса, где каждый шорох был предостережением, здесь было сухо и покойно. В камине из плоских речных валунов весело потрескивали сосновые шишки и поленья шолона, и стены отливали золотисто-оранжевым. Пахло сушеными яблоками, свежей стружкой, мятой, медовыми сотами и взваром, который тихо закипал в чугунке. В углу стояла кровать с ворохом соломы под лоскутным одеялом. Под потолочными балками висели пучки бордолиса, ромашки, медовика и лунолиста, а на столе ровными стопками, точно солдаты в строю, лежали старые книги в кожаных переплетах и стояли ступки и пустые баночки. На корешке одной из книг Розлиэн прочел: «Сказки Дирольда Пропавшего».

— Так. Сиди и не дергайся, — строго сказала девочка, наливая в чашу горячую воду. Злости в ее голосе почти не осталось, но держалась она по-прежнему настороже. — Я,

между прочим, сегодня никого лечить не собиралась. Я пришла сюда побыть в тишине, разобрать бордолис и почитать про город без жителей, а ты мне весь день испортил.

Она поставила чашу на табурет и достала из шкатулки свернутый холст, баночку с густой темной мазью и маленькие кованые щипцы.

— Отстегивай плащ. Только осторожно, рану не задень.

Розлиэн одной рукой расстегнул бронзовую фибулу. Плащ соскользнул на скамью, открыв пробитый нагрудник. Рубаха вокруг раны намертво присохла к телу.

— Ой, — тихо сказала девочка, и вся ее строгость пропала в один миг. — Это же наконечник. Арбалетный. В тебя что, из арбалета стреляли? Взрослые воины?

— Да. Предатели из отряда трицев.

Она нахмурилась и принялась осторожно отмывать кровь вокруг дыры. Розлиэн закусил нижнюю губу. Вдруг девочка замерла, глядя на его плечо.

— А это кто тебе сюда накидал?

— Что накидал?

— Листья. — Она подцепила щипцами влажный растертый комок, уже подсохший по краям. — Гиль. Ты сам, что ли? Нет, ты бы не смог, ты бы с ума сошел от боли. Растерто хорошо, положено чисто, и каждый лист куда надо лежит. Это кто-то умелый сделал. Ты кого-нибудь встретил в лесу?

Розлиэн вспомнил клюв, осторожно прижимающий выпавший листок, и бледные глаза, которые смотрели мимо.

— Сову, — сказал он. — Кажется, сову.

Девочка посмотрела на Луну, которая сидела на столе с совершенно невинным видом, и лицо у нее переменилось, словно ей открылось про свою птицу что-то такое, чего она раньше не знала.

— Ах ты, лекарка, — тихо сказала она и снова взялась за дело.

Щипцами она подцепила глубоко застрявший зубец наконечника и одним быстрым уверенным движением вытащила его из мышцы. Розлиэн глухо зашипел, но вытерпел.

— Сиди ровно, сейчас будет щипать, — пробормотала девочка, смазывая рану. — Это мазь из сосновой живицы, пчелиного воска и коровьего жира. Дедушка говорит, она любую грязь вытянет и кровь остановит лучше всякого волшебства.

Пальцы у нее, несмотря на возраст, двигались ловко и привычно: видно было, что перевязывать чужие раны ей уже случалось, и не однажды. Она туго обмотала плечо чистым холстом.

— Все. К завтрему затягиваться начнет. На, выпей.

Кружка пахла дикой малиной и медовиком. Розлиэн сделал глоток, и тепло побежало по жилам, прогоняя озноб и все, что копилось в нем эти дни. Он и не помнил, когда в последний раз чувствовал вкус того, что пьет.

— Ты говоришь, как книга, — заметила она, пока он пил. — «Не бойся, я ранен». У нас так даже старейшины не говорят. Ты что, всю жизнь учил?

— Нас учат по книгам, — сказал Розлиэн. — Наставники говорят, что язык людей может понадобиться торийцу в любой день, вот мы и учим, хотя живых людей почти никто из нас вблизи не видел.

— А ты сам-то видел?

— Только торговцев, издалека.

— Вот. А я торийцев видела в Торийский день, тоже издалека, и ни один со мной не заговорил. Ты первый. Луна не в счет, она хоть и лесная, а все больше молчит да щелкает.

Розлиэн не удержался и улыбнулся, и тут ему подумалось, что для деревенской девочки она живет как-то слишком одиноко.

— А почему ты здесь одна? Это же далеко от деревни.

Девочка ответила не сразу и все подбрасывала на ладони сосновую шишку.

— В деревне шумно, — сказала она наконец. — А мама у меня тихая. Ей шум не нравится. Вот я тут и отдыхаю. За нее. — Она бросила шишку в огонь и заговорила живее, будто захлопнула дверь в соседнюю комнату: — Землянку дедушка вырыл, когда был молодой, чтобы травы сушить. Он у меня все-все про травы знает. Только теперь у него ноги не ходят и кашель такой, что слышно через три двора, вот он и лежит на печи и оттуда командует. А землянка теперь моя. Он сам сказал: «Бери, Хозяйка, мне до нее уже не дойти».

Она сказала это очень просто, как говорят о давно привычном, и Розлиэн не стал расспрашивать.

Девочка присела на низкий табурет напротив и вдруг замерла, глядя на гостя. При ярком свете камина она наконец смогла рассмотреть его без спешки и без страха.

С виду он был обычным мальчиком своего народа, худым, с густыми каштановыми волосами до плеч. Но стоило ей встретиться с ним взглядом, как она подалась назад и прикрыла рот ладошкой.

Человеческие торговцы, видевшие торийцев в Гэофольде в Торийский день, рассказывали про их глаза, что они темные и глубокие, как ночные омуты. Правый глаз Розлиэна был именно таким, и в нем плясал золотой отблеск огня. Левый оказался совсем другим: светлым, серо-золотистым, с тонкими ореховыми прожилками.

— Ого, — прошептала она. — Это еще что за чудо? Один глаз темный, как у вас у всех, а второй светлый, совсем как у людей! Я такого в жизни не видала, и дедушка, наверное, тоже.

— У нас так иногда бывает, — смутился Розлиэн и уткнулся в кружку.

— Как тебя там зовут по-вашему, я и спрашивать не стану, все равно язык сломаю. Буду звать тебя Пестроглазый. Понял?

— Понял. — Он снова улыбнулся, и на этот раз улыбка далась ему легче. — А тебя как зовут, Хозяйка?

— Нет-нет-нет! — Девочка замахала руками. — И не проси! Имени я тебе ни за что не скажу.

— Почему?

— Потому что ты чужой! Из Леса! У нас старики говорят: скажешь чужому свое имя — беду накличешь. Вылечишься ты, уйдешь в свои дебри, а мое имя с собой унесешь? Нет уж, дураков тут нет. Ты для меня Пестроглазый, а я для тебя Хозяйка землянки. И точка.

Розлиэн спорить не стал. Ее осторожность была самой обычной, такую здешним детям вбивают с первых шагов.

— Хорошо, Хозяйка. Тогда скажи хотя бы, где мы. За оврагом уже людские земли?

— Гэофольд! — Она обрадовалась, что разговор ушел от опасного. — За полями, полночи ходу. Деревня на трех холмах, красивая, сам бы посмотрел. Дома, сады, мельницы на реке, а на дальнем холме кладбище Эзорр, там камни такие старые, что надписей не разобрать. А посередке стоит статуя Гэофольда. Он первым пошел к вам в Лес договариваться, чтобы вы нас, а мы вас при встрече не резали. — Она подумала и загнула пальцы. — Родов у нас три. Норра куют и камень режут, Вэлли рыбачат да пашут, а мы, Рона, лечим и кожу выделываем.

— Рона? — Розлиэн невольно тронул пробитый нагрудник. — Так это, может быть, ваша кожа. Гэоденская. У нас говорят, ее даже меч не берет.

Девочка удивленно вскинула брови.

— Меч, может, и не берет. — Она кивнула на дыру в нагруднике. — Стрелу вот что-то не остановила. — Подумав,

она добавила уже мягче: — Выходит, ты не совсем дикий. Вы у нас кожу берете, железо и хлеб, а мы у вас ягоды да коренья. Только взрослые все равно говорят: торгуй с лесными сколько хочешь, а засов на двери держи потолще.

Розлиэн кивнул. Спорить о том, кто прав и кто виноват в давней глухой розни, ему не хотелось. Он нащупал ножны, вытащил то, что берег пуще собственного глаза, и положил нож на ладонь.

Янтарно-красное лезвие поймало свет камина, и в глубине смолы отразился огонь, густой и рубиновый. По бревенчатым стенам и земляному полу разбежались алые блики, словно в землянке на миг вспыхнула вечерняя заря.

Девочка ахнула. Лопатка снова выпала у нее из рук, и она шаг за шагом подошла к скамье.

— Ого-о, — шепнула она с таким чистым восторгом, что забыла про все свои страхи. — Будто внутри кусочек заката заперли. Настоящего.

— Это смола Лаоса, — сказал Розлиэн, и горло у него сдавило, как от запаха родного дома. — Ее собирают на самых старых деревьях. Мне его отдал отец, Элрион. Сказал беречь себя. А я...

Он не договорил. Девочка посмотрела на блестящий клинок, на его лицо, на разноцветные глаза и перевязанное плечо, и недоверие в ней растаяло окончательно.

— Твой отец, наверное, очень хороший, — тихо сказала она и, помолчав, решилась: — Знаешь что, Пестроглазый,

оставайся. Сколько надо, столько и живи. — Она придвинула ему деревянную тарелку с румяными полбяными хлебцами. — Сюда из деревни никто не ходит, овраг у нас гиблым местом считают, и лесные твои сюда не сунутся. Поживешь, пока рана не затянется, а там мы с Луной что-нибудь придумаем. Она весь лес знает.

Она взяла хлебец и себе и некоторое время жевала молча, болтая ногами, но надолго ее не хватило.

— А правда, что у вас города на деревьях? Дедушка говорит, будто торийцы живут так высоко, что облака у них под мостами ходят.

— Облака не ходят, — улыбнулся Розлиэн. — Только туман. Утром он поднимается снизу и лежит между ветвями, как молоко в миске. Выходишь на мост, а ног не видно.

— Ужас какой, — выдохнула девочка с таким восторгом, что стало ясно: ужас ей скорее нравится. — А упасть не боитесь?

— Боимся. — Розлиэн вспомнил дедушку на смотровой площадке. — Я, по правде сказать, больше всех. Когда нас спускали вниз, я до последнего за перила держался и смотреть боялся, куда мы едем.

— А у нас все наоборот, — важно сказала Хозяйка. — Земля под ногами, и бояться нечего. Только на яблоню я все равно лазить боюсь. Один раз залезла, а слезть не смогла, так дедушка, когда еще ходил, до самого вечера стоял внизу и расставлял руки, будто собрался меня ловить. А сам вдвое

ниже яблони.

Они оба засмеялись. Смех был простой и совсем детский, и от него землянка стала казаться теплее, чем мог нагреть ее камин.

* * *

К вечеру жар вернулся.

Он поднялся откуда-то из-под повязки, медленно и неотвратимо, как вода в половодье, и к закату Розлиэн уже не мог сказать наверняка, где кончается скамья и начинается его собственное тело. Стены землянки то придвигались, то уплывали. Ему казалось, что у камина сидит Тарис и насвистывает, а в углу Рийсар правит нож, и он хотел предупредить их обоих, но язык ворочался тяжело и не слушался.

Девочка положила ему на лоб мокрую тряпицу и сидела рядом, хмурясь совсем по-взрослому.

— Дедушка, когда я болею, мне читает, — сказала она наконец, больше себе, чем ему. — Он говорит, жар сказок боится, потому что ему становится скучно и он уходит. Глупость, конечно. Но вдруг.

Она подтянула к камину табурет, взяла со стола «Сказки Дирольда Пропавшего» и раскрыла их на коленях.

Читала она старательно, водя пальцем по строчкам и запинаясь на длинных словах, про город без жителей, в котором каждое утро сами собой открывались ставни, про лодочника, перевозившего через реку чужие сны, и про многое другое, чего Розлиэн потом не мог вспомнить. Слова доходили до

него издалека, как сквозь воду. Иногда девочка переходила на напевный лад, когда в сказке попадались стихи, и тогда ее голос поднимался и опадал, и он цеплялся за этот голос, словно за перила.

— «...из белой кроны, из дикой зимы к хижине вьется дорога...» — донеслось до него, и слова растаяли раньше, чем он успел их понять.

Он не запомнил, как она дочитала. Запомнил только, что огонь в камине стал ниже, а голос тише, и под конец книга соскользнула у нее с колен, и девочка, зевая, перебралась в свой угол, под одеяло, так и не подбросив дров.

Розлиэн лежал и смотрел в потолок, на темные пучки трав. Жар немного отпустил, и сквозь него снова проступила память: Рийсар, упавший плашмя на мох, Тарис у цепей, лицом вниз. «Далеко не уходи». Он сжал кулак так, будто в нем лежал камешек для Миэлы, и шепотом, чтобы не разбудить девочку, сказал в темноту:

— Простите меня.

Никто ему не ответил. Только сова на столе повернула голову и посмотрела на него долгим оранжевым взглядом, и ему почудилось, что в этом взгляде написано: «Я знаю».

Беда, разделенная хотя бы с птицей, весит чуть меньше, и, может быть, поэтому он уснул.

* * *

Сон пришел к нему сразу, без предупреждения.

Знакомая сухая трава шуршала под ногами, скрюченные

деревья расступались, как стены коридора, а за ними лежала серая пустошь с кольями старой ограды, и посреди нее стояла хижина. Только теперь он оказался у самой ограды и видел, что колья обмотаны потемневшими от времени лентами, как бывает на могилах.

Дверь хижины была приоткрыта, и в щели горел слабый свет, словно от забытой свечи. Пахло отваром, мятой и чем-то теплым и домашним, отчего у него защемило под ребрами. Он поднял правую руку, всю в тех же шрамах, и положил ладонь на ограду.

В хижине кто-то негромко запел.

Мелодия была незнакомой, а слова он знал. Он слышал их совсем недавно, только никак не мог вспомнить где.

Он сделал шаг вперед и проснулся.

В землянке едва тлел камин. На столе сидела сова и смотрела на него круглыми оранжевыми глазами. А в углу, укрывшись одеялом до подбородка, спала девочка и во сне едва слышно напевала простой мотив, который долго и медленно поднимался, будто взбирался на холм, и вдруг обрывался коротким выдохом, как бывает у засыпающего.

Розлиэн лежал не шевелясь и слушал, пока мотив не стих. Тогда он перевернулся на другой бок и уставился на угли.

Всего лишь сон, подумал он. И сам этому уже не поверил.

* * *

Утром девочка разбудила его так, как будят только младших братьев: сдернула одеяло и громко объявила, что зав-

трак стынет, а лесные принцы могут спать хоть до зимы, только без каши.

— Я не принц, — сипло сказал Розлиэн.

— Ну, кто вас там разберет, лесных. — Она сунула ему в руки миску. — Ешь давай. А еще ты ночью бормотал. Звал кого-то и просил не уходить.

— Кого?

— Не разобрала. — Она наморщила нос. — Ты так жалобно звал, что Луна два раза к тебе слетала посмотреть.

Розлиэн уткнулся в миску. Никакого имени он не помнил. В памяти остались только запах мяты и голос, певший в хижине.

— Наверное, Рийсара, — соврал он. — Нашего военачальника.

— А, ну тогда ладно. — Девочка задумчиво почесала Луну под клювом. — Его звать можно. Только зови потише, а то в овраге эхо такое, что и в лесу услышат.

Каша была горячая и густая, с медом. Розлиэн съел все до последней ложки, облизал ее и, застеснявшись, вернул миску, старательно глядя в сторону. Хозяйка сделала вид, что ничего не заметила, и тут же положила ему вторую порцию.

А на столе, раскрытая на том же месте, где ее уронили ночью, лежала книга Дирольда Пропавшего, и Розлиэн, сам не зная почему, старался на нее не смотреть.

IV. ШЕПОТ У БИБЛИОТЕКИ

«Заговорщики всегда ищут место потемнее и забывают, что в темноте лучше всех видят совы.»

— Гармонд Синебородый, из книги «Последний костер зэрэев» (560 год I эпохи)

Землянка спала тихо и глубоко, как зверь, свернувшийся под корнями старого шолона.

Прошло три дня с того утра, когда силэй вывел Розлиэна к краю чащи, и дни эти слились в один долгий и на удивление мирный сон. В землянке пахло сушеным мохошипом, взваром из ветролиста и топинцем, запеченным в золе. Очаг потрескивал сосновыми щепками, золотые искры взлетали и терялись в саже дымохода, а на дубовых полках стояли глиняные горшочки, пучки трав и пузырьки, в которых при огне переливалось что-то янтарное.

На вязаной салфетке в углу дремала Луна, большой круглый ком дымчато-серых перьев. Время от времени она приоткрывала один оранжевый глаз, проверяла, не случилось ли чего, и снова закрывала его. Иногда, стоило хозяйке отвернуться, сова бесшумно слетала на стол, таскала из миски клубень топинца и возвращалась на салфетку с таким видом, будто она здесь вовсе ни при чем. Девочка все видела и ни разу не сказала ни слова: у них с совой был свой договор, заключенный задолго до появления торийца, и чужих он не

касался.

Плечо еще ныло, и кожа вокруг раны оставалась горячей и тугой, как кора на солнце. Жар первых дней отступил, и, хотя Розлиэн ни за что бы в этом не признался, больше плеча его теперь мучила собственная бесполезность. Он привык к ветру, канатам и работе, и лежать на чужой лавке, пока девочка с лопаткой таскает воду и колет щепу, было для него хуже всякой раны.

Она же вела себя так, будто выхаживать торийцев ей приходится каждую неделю. Подшучивала над ним без устали, но ни разу по-настоящему не обидела, и стоило ей коснуться его плеча или сменить повязку с серебряником, как тревога внутри у него гасла, точно свеча на сквозняке, и страшный лес за стеной на время переставал существовать.

— Ты чего так смотришь, Пестроглазый? — спросила она, переворачивая в углях клубни. — Сон-травник никогда не заваривал? Или у вас в Сэлайе травы не растут?

— Растут, только мы их не завариваем, у нас пьют сок Лаоса, — буркнул Розлиэн. — И у нас не принято сидеть, когда другой работает.

— У вас не принято, а у нас принято, когда плечо дырявое, — отрезала она. — Лежи, пей тихоцвет и копи силы. Свалишься по дороге в горячке, кто тебя до дома потащит? Я, что ли?

— Не свалюсь.

Плечо тут же прострелило так, что он поморщился.

— Оно и видно, — сказала она уже без насмешки и подсела ближе.

Розлиэн смотрел, как она подбрасывает в огонь кору, и наконец спросил о том, что не давало ему покоя с первого дня:

— А тот силэй, который меня вывел... В книгах пишут, что силэи к торийцам не подходят.

— А, Тао! — оживилась девочка. — Он у нас особенный. Он друг Луны.

Сова на салфетке медленно расправила крыло и снова спрятала под него голову, как будто разговор о ней был ей неприятен.

— Друг совы?

— Самый настоящий. Луна совсем маленьким совенком вывалилась из дупла прямо в овраг у Синего ручья, а там как раз бродил Тао. Он ее согрел, от морраха уберег, а потом принес к моей землянке и положил на порог, как кладут подкидышей. С тех пор они вместе. Она ему сверху добычу высматривает, а он ее стережет.

— Он меня вытащил, — медленно сказал Розлиэн. — Только смотрел так, словно я что-то грязное.

— Это да, — ничуть не смутилась Хозяйка. — Чужаков Тао терпеть не может, торийцев особенно. За что, не знаю. Я один раз спросила, и он так на меня посмотрел, что больше я не спрашиваю. А почему тебя вытащил, тоже не знаю: он мне не докладывает. — Она подцепила за шнурок резной брусок

ореховой ветки и звякнула им о край миски. — Когда нужна помощь, я свищу вот в это три раза. Тао приходит, если захочет. Обычно хочет. Так что скажи ему спасибо, когда в другой раз увидишь.

— Я уже сказал, — вздохнул Розлиэн. — Он чуть не откусил мне голову.

— Он и на меня скалится, когда не в духе, — сказала девочка. — Ничего, привыкнешь. Я вот привыкла, и ты привыкнешь.

* * *

По утрам она уходила на опушку за травами и забирала с собой сову, и тогда Розлиэн, стиснув зубы, поднимался с лавки. Он таскал здоровой рукой поленья, складывал их у очага ровной башней, подметал пол веником из горькотравы и расставлял на столе ступки по росту, от большой к маленькой. Однажды, переставляя одной рукой кувшин с хвоиной росой, он так грохнул им о столешницу, что Луна, вернувшаяся раньше хозяйки, подскочила на балке.

— Опять за свое? — раздалось от двери.

Девочка стояла на пороге с кузовком, доверху полным каплицы и золотолиста, и качала головой, хотя в уголках губ у нее пряталась улыбка.

— Я хотел помочь. Порядок навести.

— Кувшин-то чем провинился? — Она поставила кузовок у порога. — Смотри у меня, Пестроглазый: откроется рана, привяжу к лавке бечевкой, и будешь лежать до зимы на од-

ном топинце.

— Я и на топинец согласен, — сказал Розлиэн. — Он вкусный.

— Еще бы, я его сама у Синего ручья выкапывала. На, держи горсть каплицы, только кувшины больше не трогай.

Они уселись на лавку и стали делить каплицу. Ягоды были мелкие и такие сладкие, что от них сводило скулы, и пахли нагретой травой.

— У нас ягоды растут на кронах, — рассказывал он, отправляя в рот одну за другой. — Дикая балибула и синяя лэрумка. Мой друг Тэйрис вечно лезет за ними на самые тонкие ветки. Дедушка ругается, а он хохочет и висит вниз головой.

— И не боится упасть?

— Тэйрис ничего не боится. Он хвастался, что, когда спустится на землю, поймает живого морраха.

— Морраха! — расхохоталась девочка. — Пусть сперва с нашим гусем Фоней на мельнице справится! Фоня такой злющий, что от него кошки на заборы прыгают. На прошлой неделе он кузнеца Гилли из рода Норра за ногу цапнул, так тот три часа простоял на наковальне и отмахивался вилами!

Розлиэн засмеялся от души. Рядом с ней даже мысли о доме и о Листе переставали сжимать ему горло ледяным кулаком, и он с удивлением понял, что за три дня ни разу не вспомнил, как боится высоты.

* * *

В дальнем углу, за льняной шторкой, он отыскал стопку старых книг и понемногу начал вытаскивать их одну за другой. От них тянуло сушеной мятой, кожей и сажей. Розлиэн вырос среди библиотек Сэлайи и не без удивления обнаружил, что книги людей пахнут иначе, теплее и живее, как пахнет все, что часто берут в руки.

На третий день, когда за окном шуршал мелкий грибной дождь, он вытянул узкую книжицу в потертом коричневом переплете. Страницы были исписаны изящным убористым почерком с завитками, а на одном развороте чей-то давний читатель обвел стихотворение чернильным кругом, похожим на свернувшуюся змею:

Кольнет лоза, опадет листва,
Уснет в ночи твое имя.
Там, где шкуры да кости, суха трава,
Там, где дверь затворится с другими.
Не бойся леса, не бойся тьмы,
Встречай свой покой у порога —
Из белой кроны, из дикой зимы
К хижине вьется дорога...

Розлиэн замер.

Он вспомнил свой сон на Листе: низкие скрюченные деревья, серую пустошь и хижину, от которой веяло бедой. Вспомнил и сон в землянке, когда в хижине кто-то пел, а он никак не мог понять, откуда знает слова. Теперь, глядя на страницу, он понимал, что это были именно они, строка в

строку.

— Ты чего побелел? — Девочка заглянула ему через плечо. — Нашел буку на картинке?

— Странный стих. — Он с трудом сглотнул. — Про хижину. Мне такая снилась, и слова эти мне снились. А прочел я их только сейчас.

Она вчиталась и вдруг фыркнула, взъерошив ему волосы.

— Да я ж тебе его читала! В первую ночь, когда ты метался. Ты стонал, звал кого-то, а мне одной страшно было, вот я и взяла Дирольда и читала вслух, пока ты не затих. Вот тебе и весь сон. — Она пожала плечами. — Это старая сказка. Дедушка Энуил ее ребятам читает, чтобы кашу доедали и в овраги без спросу не бегали. Дедушка говорит, сны, Пестроглазый, это сухие листья в голове: надует за день ветром, а ночью они кружатся. Главное, чтобы в очаге огонь горел, а в котелке взвар кипел. Никакая хижина из книжки не выскочит.

Объяснение было простым, и голос ее подействовал лучше любого снадобья. Розлиэн закрыл книгу и кивнул. Слова, выходило, она ему прочла сама, и в этом не было никакой тайны. Но хижину он видел еще на Листе, задолго до того, как постучался в эту дверь, и о ней девочка ему не читала. Об этом он промолчал. В ту ночь, засыпая, он поймал себя на том, что одними губами повторяет: «К хижине вьется дорога».

* * *

На четвертый день землянка перестала быть убежищем.

Утром он не смог подняться. Когда девочка подошла с чашкой отвара и откинула одеяло, озорство слетело с нее, как лист с ветки. Плечо раздулось, кожа вокруг раны сделалась багрово-синей и пошла мелкой сыпью, и от нее тянуло тяжелым сладковатым запахом. Ржавый зубец, который она вытащила в первый день, успел оставить в ране лесную гниль.

Жар сжег ему губы, и мир поплыл в мутной пелене. Ему чудилось, что у очага сидит Рийсар и точит нож, как тогда на привале, и не оборачивается. «Далеко не уходи», — говорил он спокойно, и Розлиэн кивал и бежал по бесконечному мосту к хижине, а мост уходил из-под ног, и всякий раз, когда он падал, чьи-то руки подхватывали его и укладывали обратно на лавку. Лишь много позже он понял, что руки эти были ее.

Девочка не испугалась. Она положила ему на лоб прохладную ладонь, пахнувшую лунолистом, и боль на миг отступила.

— Ты что это вздумал помирать, Пестроглазый? — сказала она негромко, и глаза у нее остались серьезными. — Мои мази тут не помогут. Яд сидит глубоко.

— И что теперь? — с трудом выговорил он.

— Лечить, что же еще. — Она укутала его плащом. — Дома у мамы есть снеговец, серебряный бальзам. Он любую гниль выжигает. Пойдем ночью, тайком.

— Там же люди. А если нас поймают?

— Не поймают. — Она подоткнула ему плащ под бок. — Я по этим тропам с малых лет хожу, и ночью тоже, а Луна полетит вперед и посмотрит, чтобы нам никто не попался навстречу.

Сумерки сгустились быстро, и лес за окном стал синим, как бархат. Девочка помогла ему встать, накинула на него старый плащ с глубоким капюшоном, чтобы скрыть разные глаза и торийскую одежду, и повела его к двери. Сова серой тенью скользнула вперед, в темноту над оврагом.

Перед уходом девочка задержалась на пороге и окинула землянку долгим взглядом: очаг, пучки трав, ровную башню поленьев, сложенную Розлиэном. Она осторожно прикрыла дверь, затянула вместо замка петлю из бечевки и сунула конец под порог.

— Ничего тут с ней не случится, — сказала она, будто убеждала саму себя. — Мы вернемся.

— Конечно, — выдавил Розлиэн.

Он не понял, отчего у него кольнуло в груди. Просто подумалось вдруг, что сюда он больше не вернется никогда. Тогда он отогнал эту мысль, и только годы спустя понял, что это и было прощание.

* * *

Путь лежал через Гэоденские поля, раскинувшиеся между Роудом и горами Хаурор.

По дороге Розлиэн то и дело проваливался в жар, и тогда

ему казалось, что вместо травы вокруг качаются стволы Лаоса, а рядом идет отец. Он моргал, и отец снова оборачивался веснушчатой девочкой в капоре, которая что-то тихо напевала себе под нос.

— Что это за песня? — спросил он.

— Старая. С самого детства в голове сидит. — Она пожала плечами. — Тихая такая. Я ее пою, когда страшно.

— Тебе страшно?

— Немножко, — призналась она не сразу. — Ночью в поле всегда немножко страшно, даже если знаешь каждую кочку.

Он улыбнулся. Мотив качался в траве вместе со стеблями, с долгим подъемом и коротким выдохом на конце, и Розлиэн узнал его: так она напевала во сне в первую ночь в землянке.

Поле вокруг них было настоящим морем травы. Стебли поднимались на добрых три-четыре сэла и закрывали даже звезды; толстые сочные стволы с пышными метелками мерно качались над головой, и все поле шептало одно и то же: «Шссш... шссш...» Дети пробирались сквозь него, как две букашки сквозь зеленый лес.

— Не уснул? — шепнула девочка, придерживая его за рукав.

— Иду. У вас вся трава такая огромная?

— Только на этих полях. Зато в прятки играть здорово: никто тебя и за три дня не найдет! Главное, на гэоденскую корову не наткнуться. Она любит топтать все, что лежит под

стеблями.

— Она страшная?

— Ты что! Она пушистая! — Девочка тихо засмеялась. — Рога как коряги, уши лопоухие. Почешешь ее за ухом, она мурчит, как кошка, на всю деревню слышно.

Не успела она договорить, как резко остановилась и прижала ладонь к его груди. Из глубины зарослей донесся тяжелый вздох, как из кузнечных мехов, и земля под ногами слегка загудела.

Девочка раздвинула стебли, и перед ними встала гэоденская корова.

Это был живой холм. Огромное круглое тело в бурой, как мох, шерсти высилось над травой, а рога казались вырезанными из векового дуба. Дети едва доставали ей до колен, поросших седыми космами. В десятке шагов от них она с хрустом жевала стебли, пуская из широких ноздрей клубы пара, пахнущего гэоденской травой и парным молоком, и детей не замечала: для нее они были не крупнее кузнечиков. Корова сделала тяжелый шаг, от которого дрогнула земля, и побрела прочь.

— Вот это туша, а? — прошептала девочка, когда та скрылась в тумане. — Главное, под копыто не угодить. А так она добрячка, если за хвост не дергать. Держись, Пестроглазый, уже близко.

* * *

Трава поредела, и впереди показались темные очертания

каменных домов. Деревню огораживал старый покосившийся частокол, почерневший от сырости и обросший мхом. Возле куста чертополоха нижние бревна подгнили и вывалились, и в частоколе открылся лаз, о котором, судя по тому, как уверенно девочка к нему свернула, знали только она да деревенские собаки.

Она юркнула внутрь и помогла протиснуться Розлиэну.

Деревня спала. Из низких труб тянулся синий дымок, пахло сеном, сажей и полбяным хлебом. Сразу за частоколом, шагах в тридцати от лаза, белело в темноте старинное здание из светлого камня под высокой резной крышей. Розлиэн узнал его по гравюрам прежде, чем девочка успела шепнуть, что это библиотека. Ее построили торийцы, когда юноша Гэофольд пришел к ним в Лес с договором, и она была одним из трех зданий, оставленных народом Сэлайи в этой деревне. Он столько раз видел ее на картинках, что теперь смотрел на нее, как смотрят на знакомого, встреченного в чужом городе.

Девочка уже потянула его в переулок, когда сверху бесшумно упала серая тень.

Луна опустилась хозяйке на плечо, вцепилась клювом в край капора и дернула его назад, к частоколу. Девочка отмахнулась, но сова не отставала: слетела на землю, пробежала несколько шагов, смешно переваливаясь, взлетела на угол низкого дровяного сарая, прилепившегося к частоколу позади библиотеки, и уставилась на них оттуда круглыми глаза-

ми.

— Ты чего? — прошипела девочка. — Нам не туда.

Сова не шелохнулась.

— Она так делает, только когда что-то нашла, — шепнула девочка Розлиэну. — Один раз Фоня в заборе застрял, так она меня точно так же тащила. Пойдем глянем. Только тихо.

Сарай был темен и глух, с крышей, просевшей посередине, как спина старой лошади. Они подкрались к задней стене, туда, где между рассохшимися досками светлели щели, и тогда Розлиэн услышал голоса.

Внутри было почти темно. Кто-то поставил на пол фонарь с прикрытой заслонкой, и из-под нее на земляной пол падала только узкая желтая полоса, в которой виднелись сапоги, край кафтана и рассыпанная солома. Лица оставались в темноте. Розлиэн прильнул к щели и сначала различил только фигуры, большие и малые, стоявшие тесным кругом. Двое были ниже прочих и одеты в суконные кафтаны, по говору здешние. Над ними высились трое торийцев, и, когда один из них шагнул ближе к фонарю, свет скользнул по его подбородку и по старому шраму на нем.

Хаэр. Коренастый триц из отряда Рийсара, тот самый, что на привале чистил ножом ногти и учил его слушать лес.

А чуть поодаль, у самой стены, стояли еще трое.

Ростом они были ниже торийцев, зато плотные и жилистые, будто вытесанные из скалы. Из-под бурых, цвета запекшейся крови, накидок поблескивала белая броня, похожая

на кости в лунном свете. Волосы у них были коротко стрижены и выбелены до цвета мела, кожа бледна, с синеватым отливом, а глаза блеклы, словно из них давно выжгли всякое сомнение. Когда крайний повернулся, на плече у него в полосе света мелькнул вычерненный клык. Розлиэну не нужно было объяснять, что это значит. Этот клык знал каждый ребенок в Сэлайе по сказкам, которыми пугали непослушных.

Озриды.

— ...платформа будет спущена в Торийский день, тринадцатого лира, — тихо говорил Хаэр. — Вы даете нам свободный проход через поля...

— А вождь? — сдавленно спросил один из тех, кто был в кафтане. — Элрион...

— Вождь не ваша забота, — сказал озрид.

Он говорил негромко, но каждое слово падало, как шаг солдата в строю, коротко и без единого лишнего звука.

— Вы получите земли и золото. Уговор остается в силе.

— А если он узнает?

— Не узнает.

Розлиэн перестал дышать. «Когда в лесу тихо, значит, кто-то слушает», — сказал ему Хаэр на привале, вычищая грязь из-под ногтей. Он говорил о себе. Он слушал все время, а Розлиэн сидел напротив и рассказывал ему про отца и про Лаос.

Трицы, которых он с детства боготворил, у которых клянчил поездки на Листе, продали Лаос. Они сговорились с

озридами, чтобы открыть им путь к корням, а Рийсара убили по уговору, расчетливо и спокойно, как вычеркивают строку из списка.

Девочка нащупала его горячую руку и крепко сжала.

Один из озридов вдруг повернул голову. Свет из-под заслонки упал на бледное лицо с синеватым отливом, на блеклые глаза над белым воротом, и глаза эти смотрели прямо на ту щель, к которой прильнул Розлиэн.

Девочка зажала ему рот ладонью и вжала его спиной в бревна частокола. Сердце у обоих колотилось так громко, что казалось, его слышно сквозь доски.

— Что? — коротко спросил Хаэр.

— Тень.

— Кошка. Здесь кошек больше, чем людей.

Озрид не ответил, будто взвешивал это слово на ладони, и не двигался. Над головой у детей что-то мягко прошуршало по крыше, и по доскам скатился ком снятой с застрехи соломы. Где-то у библиотеки сонно мяукнула кошка, разбуженная шумом. Озрид медленно отвернулся. Девочка выдохнула сквозь зубы так тихо, что Розлиэн догадался о выдохе только по тому, как разжалась ее рука.

— Уходим, — шепнула она ему в самое ухо. — Быстро.

Они уходили задворками, пригибаясь под чужими окнами, и остановились только у какой-то поленницы за три улицы от сарая. Розлиэн сполз по стене. Его трясло, и на этот раз не от жара. Сверху на поленницу бесшумно опустилась

Луна и принялась чистить перья с таким невозмутимым видом, словно только что вернулась с ночной охоты и знать не знала ни о какой соломе, скатившейся с крыши сарая в самый нужный миг. Откуда сове было известно, куда их вести, Розлиэн тогда не задумался. Узнал он это гораздо позже, и от того, что узнал, ему долго не спалось.

— Я потерял счет дням, — выдавил он. — Если они спустят Лист в Торийский день, у нас почти не осталось времени.

— Значит, как только мама тебя вылечит, пойдем к твоему отцу, — сказала девочка так, будто речь шла о походе на опушку за малиной. — Мы справимся.

— Как у тебя все просто, — слабо усмехнулся он.

— А чего тут сложного? — Она поправила на нем капюшон. — Ты знаешь дорогу домой, я знаю дорогу до леса, а Луна знает все остальное. Втроем как-нибудь дойдем.

* * *

Дом ее матери стоял на самом краю Гэофольда, у лесного оврага. Это было невысокое жилище из темного речного камня, словно вросшее в землю, с низкой крышей, крытой красной глиняной черепицей, и резными наличниками. Внутри пахло лунолистом, воском и медовиком, и у очага их встретила женщина с добрыми серыми глазами.

Это была мать девочки, лучший лекарь рода Рона. Увидев раненого торийского мальчика, она не задала ни одного вопроса и ничем не выдала удивления. Только посмотрела на

дочь, на плечо Розлиэна и кивнула сама себе, как человек, которому все уже ясно. Усадила его на лавку у очага, ловко промыла рану и нанесла серебряный бальзам.

Рану сперва обожгло ледяным холодом, а затем боль начала таять, уступая место спасительной прохладе. Жар спал, и голова у Розлиэна наконец прояснилась, будто кто-то протер запотевшее окно.

Женщина взяла его за подбородок, повернула лицом к свету и долго смотрела в разные глаза. Взгляд у нее был спокойный и внимательный, как у того, кто привык молча смотреть на чужую боль. Она тронула дочь за плечо, показала пальцем на кухню, сложила ладони у щеки и отошла.

— Мама говорит, что ты слишком худой, — перевела девочка, усаживаясь напротив на низкий табурет. — Сейчас будет похлебка. И что тебе надо спать.

Вскоре женщина вернулась с глубокой миской и поставила ее перед Розлиэном. Села рядом и ждала, пока он начнет есть, а когда он поднес ложку ко рту, позволила себе слабую улыбку, будто все сложилось именно так, как она хотела.

— Она никогда не уходит, пока ты не поешь, — шепнула девочка. — Один раз Гилли-кузнец отказался от каши, так мама просидела над ним два часа, пока он не сдался.

— Она всегда так? — тихо спросил Розлиэн.

— Как?

— Без слов.

Девочка на миг опустила глаза.

— Всегда, — сказала она просто. — После расскажу. Не сейчас.

Он кивнул и не стал допытываться. У каждого есть что-то, о чем нельзя спрашивать сразу, и это он понимал лучше многих. Вместо этого он полез в сумку, нащупал лоскут и развернул его на колене: на ткани лежал гладкий серебристый камешек.

— Я подобрал его, когда мы сошли с Листа. Это сестре, Миэле. Ей пять, она просила что-нибудь настоящее с земли.

Девочка взяла камешек двумя пальцами, повертела на свету и осторожно вернула.

— Хороший, гладкий. Береги его, а то потеряешь, и сестра тебе ни за что не простит. Я бы не простила.

— Я знаю. — Он завернул камень обратно. — Я обещал.

— Тогда нечего тебе тут умирать, — сказала она буднично и, заметив, что он больше не дрожит, улыбнулась: — Ну вот. Я же говорила, что мама тебя в два счета починит.

— Спасибо. — Он посмотрел ей прямо в глаза. — Вам обеим. — Голос у него стал глуше. — Мне надо к отцу, и поскорее, пока они не спустили Лист.

— Дойдешь, — без тени сомнения кивнула девочка, и в голосе ее снова прозвучала та спокойная надежность, которой нельзя было не поверить. — Отлежишься денек, а там я тебя отведу. Мы с Луной и Тао такие тропы знаем, где и птица не пролетит.

Розлиэн смотрел на нее с благодарностью и вдруг спохва-

тился:

— Слушай... Ты меня вытащила, через поле провела, в дом привела, а имени своего так и не сказала.

Девочка засмеялась тихо и звонко, как маленький колокольчик на ветру.

— Не сказала, потому что ты был чужой, — ответила она. — Я и сейчас не знаю, правильно ли делаю. — Она достала из кармана фартука красное яблоко и протянула ему. — Ну, раз ты у нас в доме ночуешь, значит, уже не совсем чужой. Меня зовут Элей.

Он повторил имя про себя. Оно звучало мягко и тепло, как шелест летней листвы.

— А я Розлиэн, — сказал он.

Элей сморщила нос и попробовала имя на вкус, как незнакомую ягоду:

— Роз-ли-эн. Я же говорила, язык сломаешь, пока выговоришь. Будешь Розли, когда заслужишь. А пока Пестроглазый.

— А когда я заслужу?

— Я скажу, — пообещала она.

Мать, проходя мимо с кувшином, коснулась его волос, а дочери легонько шлепнула по затылку, и это, по всей видимости, означало, что гостю пора спать.

За окном, на ветке шолона, тихо ухнула сова, и в горнице дома лекарей горел ровный свет, от которого становилось спокойно. Мальчик из Сэлайи вдруг подумал, что у него сно-

ва есть место, куда можно вернуться.

Яблоко пахло медом и осенью. Розлиэн сжал его в здоровой руке и откусил, а в ушах у него, не умолкая, звучал чужой ровный голос: «Тринадцатого лира».

V. ДОМ БЕЗ СЛОВ

«Есть дома, где молчат громче, чем в иных кричат. Гостя в таком доме слышат раньше, чем он успеет заговорить.»

— из «Записок Гармонда Пятого» (II эпоха)

«Меня зовут Элей», — подумал Розлиэн, засыпая, и это имя еще долго покачивалось у него в голове, как лодка на мелкой воде.

Ночь в доме лекарей осталась в памяти теплым пятном: прохладные руки, пахнущие травяным соком, бальзам, обжигавший рану холодом, как зимний ручей, и горячий отвар из кореньев, от которого в животе разливалось тепло, а голова делалась легкой и пустой. Сон пришел глубокий, без единого видения, и в эту ночь Розлиэну не приснились ни хижина, ни голос, певший в ней.

Он проснулся от света, лившегося в высокое окно, и не сразу понял, где находится.

Дом был сложен из темного речного камня, и толстые стены хранили тепло лучше любого меха. Пол выстилал гладкий плитняк, у дверей лежали овечьи шкуры и плетеные циновки из шэйского тростника, в широком очаге из валунов с берегов Шэ потрескивали дрова, а на дубовых полках теснились глиняные банки, медные ступки, пучки трав и горшочки с горным медом. Нигде ничего не звенело и не гремело, и тишина здесь была мягкой, как шерстяное одеяло, в которое

можно завернуться с головой.

Розлиэн приподнялся на лавке. Плечо больше не горело; глубоко в мышцах осталась только тупая тяжесть, какая бывает после долгого дня на канатах Листа.

Из кухонного придела вышла мать Элей. У нее было красивое лицо, обрамленное светлыми прядями, которые выбивались из-под платка, и серые глаза с лучистыми морщинками в уголках. Она подошла и коснулась ладонью его лба, проверяя, нет ли жара. Ладонь была прохладной и пахла лунолистом.

Розлиэн склонил голову в торийском поклоне:

— Спасибо вам. За бальзам и за приют. Без вас я бы не поднялся.

Женщина чуть наклонила голову, на миг сжала его пальцы в своих и улыбнулась, но не сказала ни слова.

Розлиэн растерянно перевел взгляд с ее глаз на губы. Может быть, он нарушил какой-нибудь здешний обычай? Может быть, у людей первым благодарить не принято?

— Мама не отвечает вовсе не оттого, что сердится, — сказала Элей. Она сидела у очага и подбрасывала в угли смолистые шишки. — У нее нет голоса. С самого рождения. Она за всю жизнь ни слова не сказала.

Розлиэн замер. В Сэлайе о тех, кого лес лишил слуха или речи, говорили с почтением: считалось, что лес забирает у них внешний шум, чтобы дать взамен внутренний слух и умение видеть то, чего не видят другие. Теперь он понимал,

отчего в этом доме так спокойно. Хозяйке не требовались слова, потому что каждое ее движение говорило само.

Мать поставила перед ним миску похлебки из дикого лука и кореньев, и по ее взгляду Розлиэн понял, что отказываться не стоит.

— Ешь, ешь, — сказала Элей. — Я же говорила: пока миска не опустеет, она от тебя не отойдет.

Мать шутливо погрозила дочери пальцем, но в серых глазах мелькнула смешинка. Розлиэн взял ложку и съел все до капли, и тепло потекло к груди, выгоняя остатки болезни.

* * *

После завтрака Элей объявила, что раз уж гость собирается жить в доме, ему нужен словарь.

— Какой еще словарь?

— Мамин. Вот смотри. — Она приложила ладонь к груди и плавно отвела ее вперед. — Это «спасибо». А это, — два пальца, согнутые у виска, — «болит». Если она так делает и показывает на тебя, значит, у тебя болит плечо. Ты за него все утро держишься.

Мать стояла у стола с пучком сухого медовика и с совершенно невозмутимым лицом показала ему знак «болит», а затем ткнула пальцем в его левое плечо. Розлиэн опустил руку, которую, как оказалось, и правда прижимал к повязке.

Учили его долго. «Хлеб» складывался из ладоней лодочкой, «вода» была пальцами, бегущими по воздуху вниз, как дождь, а «тише» означал палец у губ, и этот знак Розлиэн

запомнил сразу, потому что мать показывала его дочери чаще всех остальных. Когда с третьей попытки он правильно сказал «спасибо», женщина просияла так, будто он спел ей целую песню, и тут же показала что-то быстрое и длинное.

— Что она говорит?

— Что у тебя хорошие руки, — перевела Элей и сама немного удивилась. — Рабочие. Говорит, сразу видно, что ты к делу приучен.

Розлиэн посмотрел на свои ладони, жесткие от мозолей, которые набили перила и канаты Листа. Красивыми их не назвал бы никто, но он отчего-то покраснел до ушей.

* * *

Когда мать ушла в задний придел перебирать сушеный снеговец, Розлиэн решительно спустил ноги с лавки.

— Чем я могу помочь? Здоровая рука у меня работает, а сидеть без дела я не привык.

Элей смерила его подозрительным взглядом, но в разных глазах гостя было столько упрямства, что она только вздохнула:

— Ладно. Только ничего тяжелого, а то мне от мамы влетит.

Она подвела его к верстаку, где сушились стебли и корешки, и вручила каменную ступку и мешочек сухих гэоденских корней.

— Растирай в мелкую пыль. Это на припарки.

Он уселся на низкий табурет и взялся за пестик. Элей

устроилась напротив и принялась ловко связывать бечевкой стебли лунолиста и подвешивать их к потолочным балкам.

— У вас все дома такие? Из камня? — спросил Розлиэн.

— Почти все. Камень с Хаурора возят. — Она затянула узел зубами. — Мы, Рона, на самом краю живем, чтобы тихо было. А у Норра в квартале жуть: все стучит, гремит, колеса на Шэ крутятся. Вэлли побогаче, у них рыба да поля, и в домах вечно булками пахнет.

— И тебе тут не скучно, на отшибе? — спросил Розлиэн.

— Бывает, — ответила Элей, не поднимая головы. — Зато под окнами никто не ходит и не заглядывает.

Розлиэн хотел спросить, кому вздумается заглядывать к лекарям, но она уже взялась за новую связку, и он промолчал и налег на пестик.

Элей пристально разглядывала его поверх связки лунолиста и наконец не выдержала:

— Слушай, а отчего у тебя глаза разные? У вас все такие?

— Бывает. — Он пожал здоровым плечом. — Говорят, это значит, что мы смотрим сразу и на то, что есть, и на то, чего еще нет. По-моему, так сказали, чтобы нам было не обидно.

— А мне нравится, — сказала Элей. — Один как кора после дождя, другой светлый, как ореховая стружка. Я бы их нарисовала. Можно?

— Рисуй, если хочешь, — смутился Розлиэн.

— Потом. Сначала корни дотри.

Он снова взялся за пестик, и в этот миг в дверь громко и

требовательно постучали.

Мать выглянула из придела. Элей побледнела и тут же сделалась деловитой, как полководец перед атакой. Она схватила Розлиэна за рукав и зашипела:

— Под лавку! Быстро! Лежи и не дыши! Ступку забери!

— Но...

— Быстро!

Он нырнул под лавку, прихватив ступку и пестик, а мать бросила сверху овечью шкуру так, что край ее свесился до самого пола. Розлиэн очутился в темноте, пахнущей шерстью и медовиком, и вжался в стену.

Дверь скрипнула, и в дом вошел кто-то такой большой, что в комнате сразу стало тесно.

— Лекарка! — прогудел густой бас. — Я к тебе по делу. Опять она, проклятая!

Мать кивнула и жестом пригласила гостя сесть. Лавка над головой Розлиэна прогнулась и жалобно скрипнула, и в щель между шкурой и полом он увидел огромный сапог, а над ним край кожаного фартука в прожженных дырах.

— Эй, Элей, — сказал бас. — Что-то у вас пахнет не так, как всегда.

Розлиэн перестал дышать.

— Смолой пахнет, — продолжал гость, — и листом каким-то лесным. Будто зверь в доме побывал.

— Это мама снеговец чистит, дядя Гилли, — сказала Элей с таким невинным видом, что даже Розлиэн на миг ей пове-

рил. — А я дрова таскала. Сосновые. Пахнет, правда?

— Пахнет. — Гилли шумно потянул носом. — Ну ладно. Слушай, лекарка, у меня нога. Вчера меня опять цапнул этот гусь, чтоб ему...

— Фоня, — вздохнула Элей.

— Фоня! На той неделе иду я от мельницы, а он за мной до самой кузни! Я на наковальню вскочил, чтоб ноги уберечь. Он встал внизу и смотрит. Три часа! Три часа я торчал на собственной наковальне, как пугало огородное, и отмахивался вилами! — Кузнец рассказывал это с такой горечью, что Розлиэн зажал рот ладонью. — Приходит жена и спрашивает: «Гилли, ты чего там стоишь?» И как ей объяснить? Ты бы видела его глаза! Злой дух, а не гусь!

Под шкурой что-то дрогнуло: это Розлиэн не выдержал. Он трясся от беззвучного смеха, стискивая пестик, и по щекам у него текли слезы.

— Это что? — насторожился Гилли.

— Что? — спросила Элей. — А, это Луна. Она на балке сидит и чешется.

— Сова? Ну да, ну да. — Гилли хмыкнул и задрал голову. — Хорошая птица, умная. Что-то я ее не вижу.

— Так она уже в окошко шмыгнула, — сказала Элей спокойно, но Розлиэн слышал, как дрожит у нее голос. — Она у нас то в землянке у оврага, то здесь. Мама, дай дяде Гилли мази!

Мать быстро и ловко замотала кузнецу лодыжку, смазав

след гусиного клюва пахучей мазью. Гилли бормотал, что с такими гусями надо бороться огнем, а вовсе не вилами, тяжело поднялся, поблагодарил и уже у двери вдруг остановился.

— Слушайте, а дверь-то у вас не заперта. Я стучал, стучал, пока не догадался толкнуть. Вы бы хоть засов задвигали.

— Мы спали, — сказала Элей.

— До полудня? — Гилли хмыкнул. — Ну да, у лекарей все не как у людей. Бывайте.

Дверь хлопнула. Мать глубоко выдохнула и опустилась на лавку, уронив руки на колени.

Элей откинула шкуру, и Розлиэн выбрался наружу, красный, с мокрыми щеками и ступкой в обнимку.

— Ты смеялся! — яростно зашептала она. — Ты нас чуть не выдал!

— Я не мог удержаться, — выдавил он. — Три часа на наковальне!

Элей постояла, нахмурясь, губы у нее дрогнули, и она прыснула, зажимая рот ладонью. Мать, глядя на них обоих, закрыла лицо руками, и плечи ее затряслись. Они смеялись тихо и до слез, пока у Розлиэна от смеха не разболелось плечо.

— А он ведь правда стоял на наковальне, — пискнула наконец Элей. — Я видела. Фоня сидел под ней и глядел на него снизу, а Гилли махал вилами и звал жену.

Когда все отдышались, мать подошла к Розлиэну, косну-

лась пальцем двери, затем его груди и сделала короткий мягкий жест от себя вниз, будто придавливала что-то к земле.

— «Дверь на засов, и ты сиди тихо», — перевела Элей уже без улыбки. — Она не сердится. Просто в другой раз может зайти не дядя Гилли.

Розлиэн кивнул, и смех в нем сразу остыл. Он вспомнил, что находится в доме, где одно неосторожное слово соседа может обернуться бедой для двух людей, которые не сделали ему ничего, кроме добра.

* * *

Днем Элей повела его по узкой лестнице из темного дуба наверх, под самую крышу.

Комнатка оказалась маленькой и удивительно светлой. Круглое окно смотрело на всю деревню сразу: на пологие холмы, на бирюзовую ленту Шэ, на далекую зелень полей, уходящую к горам. А на стенах, на полках и на подоконнике висели, лежали и стояли листы плотной бумаги с рисунками.

— Это все ты? — спросил Розлиэн.

Элей смутилась, но глаза у нее загорелись.

— Ну да. Бумагу мне дядя Гордэн приносит, когда из города возвращается, а чернила я сама варю, из сажи с соком ферия. Смотри!

Она достала из сундука альбом в кожаном переплете. Там были звери и птицы, огромные гэоденские коровы, юркие сальтивы и смешные рисунки про деревенских: могучий кузнец из рода Норра с кувалдой, писарь с носом длиннее соб-

ственного пера и, конечно, гусь Фоня, нападающий на Гилли, который стоит на наковальне в самой героической позе.

Розлиэн расхохотался второй раз за день.

— Гилли прямо как живой, — выговорил он наконец. — И Фоня тоже. Как ты так умеешь?

— Сама не знаю. Смотрю подольше, вот и все.

Они расстелили на полу овечью шкуру и разложили на ней ее сокровища: синеватый гладкий камень с берега Шэ, сушеные лепестки бордолиса, ореховую свистульку и совиное перо.

— А у нас в стены кристаллы вставляют, — сказал Розлиэн, разглядывая наброски. — Из гор Саламэ. Днем они набирают солнца, а ночью светят. И греют.

— Камень, который сам греет, — шепнула Элей. — Вот бы такой.

— А еще у нас летают. — Он и не заметил, как оживился. — На веерных крыльях. Каркас из шэйского тростника, сверху натянута лирийская кожа. Прыгаешь с ветки, ловишь ветер и летишь от кроны к кроне.

— Вы летаете между деревьями?! — Элей подскочила. — Как птицы?

— Так рассказывают. Говорят, первый Риэль мог долететь от Сэлайи до самого Клера. — Он смутился. — Я пока не летал. Мне даже на смотровой площадке страшно.

— А на землю спустился, — сказала Элей. — С самого верха, на вашем Листе. По-моему, это пострашнее любой

площадки.

Он посмотрел на нее и не нашелся, что ответить.

— Сядь у окна, — вдруг скомандовала она и выхватила из кармана угольный карандаш. — На свет. Голову левее. Нет, в другую сторону. Вот так и сиди, только не вертись.

Розлиэн честно постарался сделать каменное лицо. Вскоре у него зачесался нос, затем затекла шея, а когда начало сводить ногу, он понял, что художники, должно быть, самые безжалостные существа на свете. Элей водила углем быстро и сердито, высунув кончик языка, и то и дело бросала на него взгляд, острый, как иголка. Его еще никогда так не разглядывали: так смотрят на то, что хотят запомнить навсегда, и уж точно так не смотрят на случайного гостя.

— Готово, — сказала она наконец и повернула лист.

С бумаги на него глядел мальчик с усталым лицом и упрямой складкой между бровей. Глаза были нарисованы по-разному: один темнее и глубже, другой светлее, с крошечным бликом. Элей не стала приукрашивать ни царапины на скуле, ни торчащего вихра, но лицо получилось таким, каким Розлиэн хотел бы его видеть в зеркале: живым, словно готовым вот-вот рассмеяться.

— Это я? — спросил он.

— А кто же еще, — буркнула Элей и спрятала портрет в альбом. — Я рисую, как вижу.

Они просидели наверху долго. Солнце сползло по крыше, свет в окне стал золотым, и Розлиэн, сам не зная зачем, спро-

сил:

— А твой отец? Он тоже лечит? Или он из мастеров Норра?

Все в комнате будто остановилось.

Элей застыла, и пальцы ее впились в переплет альбома так, что ногти оставили на коже полукруглые следы.

— Я не хочу про него говорить.

— Я только...

— Ни слова, Розлиэн. — Голос у нее дрогнул. — У нас есть мама, дедушка и дядя Гордэн. Отца нет. Понял? Нет, и все.

Она захлопнула альбом. В ее плечах, в опущенной голове была такая старая, накопленная боль, что Розлиэн понял: он ступил на тропу, по которой чужим ходить нельзя.

— Прости, — тихо сказал он. — Я не хотел тебя задеть.

Элей сидела, опустив голову, и молчала так, что стало слышно, как внизу мать стучит пестиком. Наконец она выдохнула, отложила альбом и протянула ему синеватый камень с берега Шэ.

— Держи.

— Это же твой.

— Знаю. У меня их много. А тебе будет что в руках вертеть, когда страшно. — Она отвернулась к окну, и Розлиэн увидел, как покраснели у нее уши. — И не говори мне «спасибо», я этого не люблю.

Камень был гладкий и теплый, и в глубине его играли си-

ние искры. Розлиэн сжал его в ладони и убрал в сумку, в тот же лоскут, где лежал серебристый камешек для Миэлы. Два камня рядом, подумал он: один для сестры, другой от девочки, о которой неделю назад он даже не слышал.

* * *

Когда за окном стали густеть сумерки, мать выпустила их из дома, показав на прощание знак, который Элей перевела как «смотрите в оба».

Элей вела его задворками. Розлиэн шел, надвинув на лоб капюшон старого плаща, который мать вытащила для него из сундука. В окнах загорались огни, оранжевый свет ложился на камни мостовой, пахло дымом, свежей выпечкой и мокрым деревом.

У поворота, возле дома с кузнечным навесом, на крыльце сидела женщина с пряжей на коленях. Она подняла голову, увидела Элей и поджала губы.

— Куда это на ночь глядя, лекарская? Опять с совой своей?

— Гулять, тетя Ронда, — спокойно ответила Элей. — Для здоровья. Воздух полезный.

— Для здоровья, — повторила женщина. Взгляд ее скользнул по спутнику Элей, задержался на капюшоне и на том, как высоко этот капюшон поднимался над головой девочки. — А это кто ж такой длинный?

— Помощник. Маме травы носит.

— Помощник, — протянула Ронда, будто пробовала сло-

во на зуб. — Что-то я его раньше не видала. Ну-ну. Гуляйте, гуляйте. Только к нашему колесу не суйтесь.

Они прошли мимо, и Розлиэн еще шагов двадцать чувствовал спиной этот колючий любопытный взгляд. Элей шла прямо и высоко держала подбородок, и только пальцы, комкавшие край платка, выдавали, чего ей стоило это спокойствие.

Миновав лавки рода Вэлли, они вышли к огромному деревянному сооружению над бирюзовым потоком Шэ: водяное колесо медленно проворачивалось в темноте, как исполинский сонный зверь.

— Смотри, — шепнула Элей. — Верхний шлюз рода Норра. Видишь рычаги? Нажмешь на коромысло, опустится заслонка, и вода уйдет на Гэоденские поля.

— Ловко придумано, — искренне сказал Розлиэн, по привычке прикидывая, как это устроено. — Как блоки у нас на Листе, только наоборот.

— Скажи это Гилли, он тебя в подмастерья возьмет.

— Тогда я точно домой не вернусь.

Элей засмеялась и тут же умолкла, поняв, что он сказал.

Они дошли до мостика у края полей. Из глубины травы донесся далекий вздох: корова-великан ворочалась во сне. Дети стояли и слушали, как шумит вода, и оба думали о доме. Ей казалось, что ее дом слишком мал и тих, а ему, что его дом слишком далеко. Над полем висела низкая медная луна, и от нее по воде тянулась дрожащая дорожка, такая узкая,

что по ней, казалось, мог пройти только один.

Обратно Розлиэн шел медленнее, придерживая плащ. На подъеме нога у него подвернулась, и он едва удержался.

— Элей, — тихо спросил он, — а почему мы все задворками да задворками? Тебя в деревне не любят?

Девочка сбила носком башмака камешек и фыркнула:

— А на что мне они? С ними скучно.

Несколько шагов она прошла молча, а затем добавила совсем тихо:

— Не любят. Нашу семью не любят с тех пор, как отец... — Она осеклась и сжала губы. — С тех самых пор. Мама молчит, травами лечит, людям от этого не по себе. Прибегают, когда прихватит, а как отпустит, на другую сторону улицы переходят. Мальчишки Норра вслед кричат, что она колдует. — Она пожала плечами. — Луна хоть не врет. И Тао за спиной не смеется.

— Дураки они, — сказал Розлиэн и сам удивился, как зло это прозвучало. — Мама у тебя добрая. А с тобой... с тобой хорошо идти. Хоть куда.

Элей повернулась к нему, и в глазах у нее снова вспыхнули искорки.

— Утешаешь, значит, — сказала она. — Ну ладно, Пестроглазый. Утешай, у тебя неплохо выходит.

Ответить он не успел: земля качнулась, в плече стрельнуло так, что потемнело в глазах, и он осел на одно колено, едва успев упереться рукой в камни.

— Розли! — Вся насмешливость разом слетела с Элей. Она подхватила его под здоровую руку. — Говорила же я, рано тебе разгуливать! Давай, опирайся. Дом за поворотом.

— Все хорошо, — прохрипел он. — Просто голова закружилась.

— Вижу я, как хорошо.

Она довела его до дому почти на себе, и путь этот показался ему бесконечным.

Дома пахло травами и ужином. На столе стоял горшок с печеными клубнями, грибами и мясом. Мать мигом оказалась рядом и тронула его лоб: жара не было, одно лишь утомление. Она посмотрела на дочь, и в этом взгляде было столько упрека, что Элей опустила голову и пробормотала:

— Знаю, знаю. Я виновата.

Мать вздохнула, пододвинула к Розлиэну миску с самым большим куском мяса и, пока он ел, сидела напротив, подперев щеку рукой. Она не показывала ему ни одного знака, только смотрела, как ест чужой мальчик, и в лице ее светилась тихая усталая нежность. Такую нежность Розлиэн, наверное, видел когда-то и у собственной матери, но вспомнить не мог: она умерла, когда ему едва исполнилось пять, и от нее в памяти осталось лишь что-то теплое и неясное, как свет за закрытыми веками. Ему стало разом так тепло и так больно, что он едва не поперхнулся.

— Вкусно, — выдавил он и показал знак «спасибо», сбившись на середине.

Женщина улыбнулась и поправила ему пальцы.

Ужин вернул Розлиэну силы. Мать помогла ему добраться до лавки у очага, застеленной тюфяком, набитым медовиком и лунолистом, погладила дочь по кудрям, задвинула засов и ушла к себе.

Горница погрузилась в полумрак. Но Элей наверх не пошла. Она притащила из угла овечью шкуру, расстелила ее у лавки, завернулась в платок и уселась на пол.

— Буду следить, чтоб ты не свалился, — шепнула она. — Расскажи еще что-нибудь, Пестроглазый. Про крылья.

— Ты меня Розли назвала, — сказал он. — Там, на улице.

Элей ответила не сразу.

— Само вырвалось, — сказала она наконец. — Ты так побелел, что я испугалась. Не нравится, так не буду.

— Нравится. Меня так только дома зовут.

— Тогда буду. А теперь рассказывай про крылья.

— Каркас делают из тростника, — тихо начал он, устраиваясь поудобнее. — Он выходит легкий, а сверху натягивают кожу. Делаешь шаг в пустоту, сердце проваливается, а кожа ловит поток воздуха, и ты летишь над зеленым морем крон...

Он говорил медленно, вполголоса, рассказывая про свет кристаллов и шелест ветров, пока из темноты не донеслось ровное глубокое дыхание.

— Элей?

Она спала, свернувшись на шкуре. Губы у нее чуть улыбались, а в разжатой руке лежал угольный карандаш. Рядом

белели листы из альбома, которые она, видимо, успела принести вниз.

Розлиэн осторожно поднял их к отблеску тлеющих углей.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.